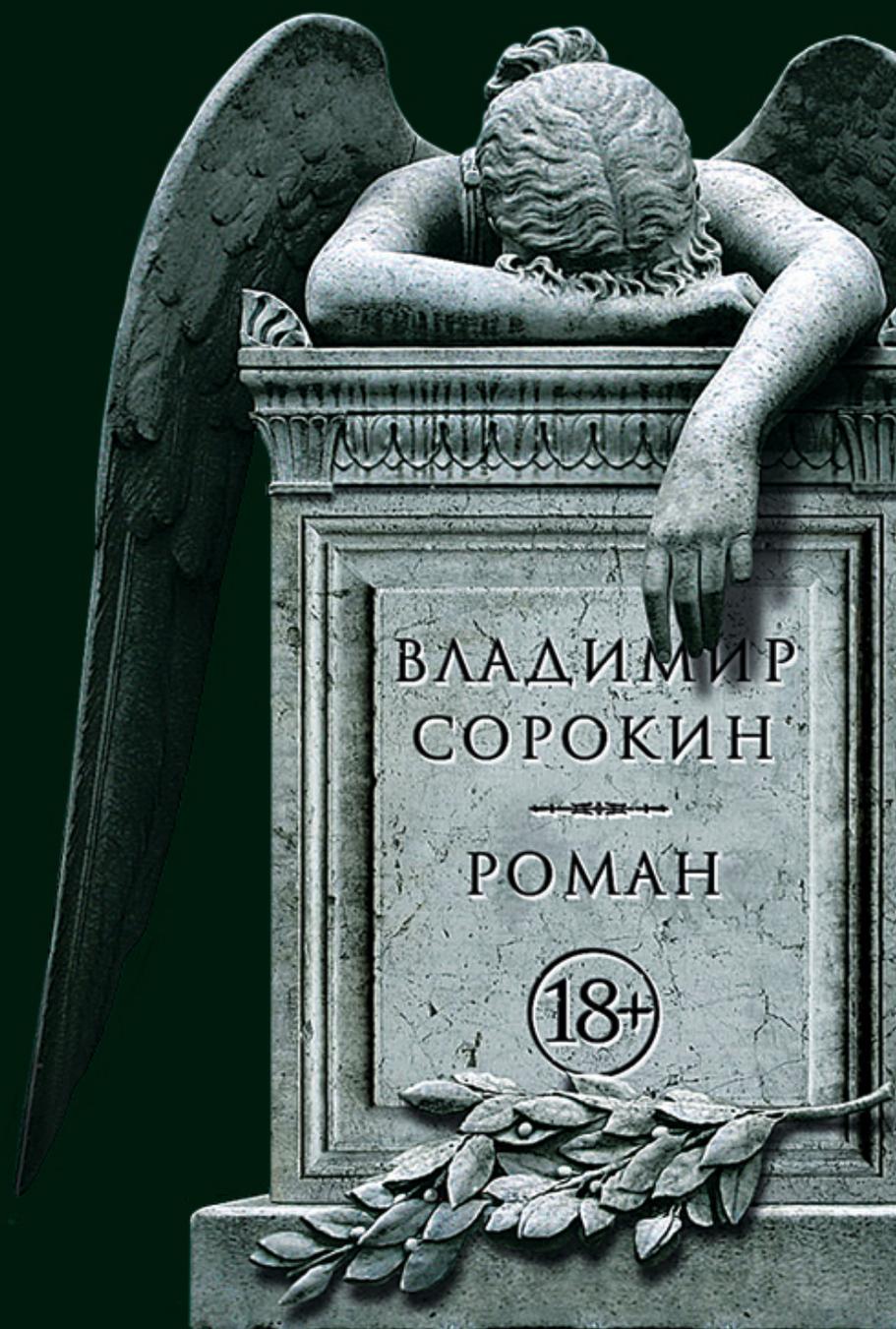


ВЛАДИМИР СОРОКИН



Владимир Сорокин

Роман

«Corpus (ACT)»

2021

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Сорокин В. Г.

Роман / В. Г. Сорокин — «Corpus (ACT)», 2021

ISBN 978-5-17-145803-4

Роман, молодой столичный адвокат и художник-любитель, уезжает в деревню к дяде, круто меняя свою жизнь в поисках нового смысла и вдохновения. Он попадает в пространство русского романа конца девятнадцатого века, в его неспешный ритм и идиллический ландшафт. Здесь все кажется бесконечным – трапеза, охота, сенокос, пожар, лес и традиционные споры о судьбах России. Владимир Сорокин восстанавливает помещичье-дачный быт и персонажей русской прозы с такой любовью и тщательностью, что может показаться, будто его задача – написать еще один классический роман. Но это, конечно, не реконструкция, а деконструкция. Бесконечная идиллия заканчивается вроде бы внезапно, но на самом деле предвестники финала начинают постепенно прорастать сквозь текст, подобно диковинным цветам распада, разрушая устоявшийся, патриархальный русский мир. Пастораль превращается в триллер. Содержит нецензурную брань!

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-145803-4

© Сорокин В. Г., 2021
© Corpus (ACT), 2021

Содержание

Часть первая	7
I	7
II	12
III	21
IV	29
V	37
VI	44
VII	52
VIII	57
IX	64
X	72
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Владимир Сорокин

Роман



© Владимир Сорокин, 1994

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Издательство CORPUS ®

Нет на свете ничего прекрасней заросшего русского кладбища на краю небольшой деревни.

Тихое, неприметное издали, лежит оно под густыми купами берёз, теряется в зарослях боярышника, бузины и сивой, годами не кошенной травы, что стоит высокой, до пояса, стеной на месте бывшей здесь некогда ограды.

Случайный прохожий, следующий мимо по неширокой полевой дороге, замечает эту своеобразную изгородь, возведённую матерью-природой взамен развалившейся человеческой, покосившиеся, но всегда гостеприимно распахнутые ворота, кресты, неброско, но явственно мелькающие меж толстых берёзовых стволов, заставляющие невольно замедлить шаг или вовсе остановиться.

Прохожий останавливается, смотрит, затем сходит с пыльной дороги на неприметную стёжку и медленно идёт к кладбищу. Пройдя ворота, он делает несколько шагов и снова останавливается, теперь уже надолго.

Как всё заросло вокруг! Какое запустение и торжество жизни над смертью. Сочная, густая трава покрывает всё. Как красива она, сильна и разнообразна! Здесь зверобой и иван-чай, душица и мята, кукушкин лён и пижмы. Земляника стелется по еле различимым холмикам могил кудрявым ковром, дразня алыми бусинками ягод, папоротник заслоняет трухлявые кресты своими резными листьями, крапива висится, перерастая ржавые ограды.

Трудно разыскать здесь знакомую могилу: иной крест упал, другой сгнил, лишившись перекладин, превратившись в столб, а на третьем вырос мраморно-белый мох, начисто скрыв имя погребённого.

Вот простенькая ограда, завалившаяся под натиском колючих веток шиповника, а рядом – другая, побогаче, проросшая молодой берёзкой и повисшая на ней: растёт юное деревце, тянет за собой ржавые прутья.

Тихо, прохладно под раскидистыми кронами. Полуденное солнце почти не проникает сюда – лишь изредка скользнёт тонким лучом по замшелой крестовине и пропадёт в обильной зелени.

Как хорошо здесь. Как свободно и спокойно дышится. Хочется сесть на траву, прислониться к бугристому стволу старой берёзы и слушать, слушать немолчный шум крон, забывая обо всём бренном, мелочном, недолговечном.

Пахнет земляникой, прелью и лесными цветами. Птицы перекликаются в зелёной выси. Жужжит толстый шмель на бело-розовом цветке клевера. Ни глазу, ни душе не требуется привыкать к кладбищенскому ландшафту – здесь всё как будто существует для молчаливого созер-

цателя, всё рассчитано на него, дабы помочь ему обрести душевный покой, прояснить мысли, возвысить чувства. Долго сидит он, думая о вечном и преходящем, истинном и ложном, конечном и бесконечном. А над кладбищенскими берёзами тем временем неторопливо проплывают облака, собираясь вдали, у синей стены бора, в грозную тучу.

За перелеском в неширокой извилистой речушке босоногая деревенская детвора ловит плетёнкой пескарей, так что весёлый плеск и крики иногда долетают до забытых могил. Но ничто не потревожит спящих вечным сном – ни восклицания, ни смех, ни грозный в своих продолжительных раскатах июльский гром, оживающий в недрах надвигающейся тучи. Гремит он, заставляя путника встать, напоминая о земных делах и заботах: пора под крышу, к людям, гроза уж близко.

Уходит путник поспешным шагом, минуя старые ворота, оставляя следы на сочной траве.

Кладбище провожает его, как и встретило: немо, внимательно. Кресты молча смотрят вслед – большие и малые, покосившиеся и прямые, созревшие и целые. Стоят они бессловесными хранителями покойных, с русской покорностью распростёрши деревянные руки...

Снова гремит гром. Тёмно-лиловая, с палевыми краями туча надвинулась, дыша прохладой. Темнеет. Смолкают голоса птиц. Перелетая с ветки на ветку, спускаются они ниже, порхают меж крестов. Вот одна – серогрудая остроносая овсянка присела на верхнюю перекладину высокого креста. Он поновей остальных – стройный, дубовый, крепко сбитый, не успевший посереть. Да и могила не заросла – молодая травка пробивается из песчаного холмика.

Овсянка чистит клювик, царапая крест. Темнеет настолько, что всё теряется меж белых стволов, смешиваясь в зелёном полумраке, и уже трудно прочесть надпись на кресте. Только крупно вырубленное имя покойного – РОМАН – различимо на большой перекладине, да и оно скоро пропадает в усиливающемся сумраке.

Гремит уже над самой головой, бьют по листьям первые увесистые капли. Слышно, как дети весело бегут домой.

Проходит ещё несколько мгновений сумрачного затишья, и тёплый, благодатный ливень обрушивается на притихшую землю.

Часть первая

I

Поезд дёрнул в тот самый момент, когда Роман опустил свой пухлый, перетянутый ремнями чемодан на мокрый перрон.

Короткий свисток заставил его оглянуться. Зелёные, забрызганные дождём вагоны тронулись со скрипом, усатый проводник, стоящий в проёме двери, помахал рукой:

– Зонт-то раскройте, а то промокнете!

– Merci! – ответно махнул ему Роман и стал раскрывать большой чёрный китайский зонт с ручкой в форме драконьей головы.

Кругом было всё мокро – узкий деревянный перрон, перила, скамейка, голые, прямые, словно шпаги, ветви тополей с набухшими почками. Набирающий ход поезд снова засвистел, хлопнула железная дверь, замелькали зашторенные окна.

Роман подошёл к перилам, положил руку, затянутую в серую замшевую перчатку, на крашеное облупившееся дерево.

Тёплый дождь, первый дождь в этом году, мелким бисером сыпался на зонт, слабые порывы ветра качали тополя, несли водяную пыль.

За перилами лежало просторное, запаханное с осени поле со следами снега, почти уже сошедшего. Дальше было мелколесье – прозрачное, синеватое, растворяющееся в белёсом утреннем воздухе.

Вокруг не было ни души.

“Значит, не встретил никто, – весело подумал Роман. – Ну и прекрасно! Пойду через лес. Напрямик здесь три версты, это чудное путешествие”.

Сунув руку в карман своего светло-серого пальто, он достал часы. Было четверть восьмого.

– А уже вовсю светло, – проговорил Роман вслух, подхватил чемодан и бодро зашагал к концу перрона, небрежно прикрывшись зонтиком, подставив своё молодое красивое лицо свежему апрельскому воздуху.

Роман был красив той красотой, которая встречается обычно у скандинавов, а в России именуется “немецкой”. Его высокая, худощавая, слегка сутулая фигура с не очень широкими плечами всегда бросалась в глаза из-за чересчур размашистой и быстрой походки, выдающей характер искренний и порывистый. Белокурые волосы, выбивающиеся из-под светло-серой, как и пальто, шляпы, были мягки, волнисты. Черты лица отличались правильностью, если не считать некоторой тяжеловатости подбородка и тонкости губ, в то же время имевших неуловимое детское выражение полуулыбки, несоответствующее глубокому взгляду больших серо-голубых глаз. В свои тридцать два года Роман носил небольшие светлые, всегда аккуратно подстриженные усы и такие же небольшие бакенбарды.

Перрон быстро кончился деревянными ступеньками, и обутые в неглубокие калоши ботинки Романа пошли по мокрой, совсем недавно избавившейся от снега земле. Она была мягкой, словно губка, и испуганно прогибалась под тяжестью этого молодого, полного сил человека. Но не успел Роман пройти и десятка шагов, как справа из-за небольшого пристанционного сарая выехала телега, запряжённая каурой широкогрудой лошастью, ведомой под уздцы таким же широким, коренастым, чернобородым мужиком, узнать которого Роман смог бы и за версту.

От неожиданности он остановился, а чернобородый, лукаво скаля белые крепкие зубы, одной рукой ведя чавкающую копытами лошадь, другой, прихватив кнут, приподнял мокрый лисий треух:

– Здравия желаем, Роман Алексеич!

– Аким... – только и проговорил Роман, опуская зонтик, а через мгновение уже тряс крепкую смуглую руку Акима. – Аким! А я уж думал, никто не встретит!

– Ну как можно, Роман Алексеич. Мне ж Лидия Константиновна ещё вчера сказала...

– Спасибо тебе огромное! Как рад тебя видеть! – Роман не выпускал руки Акима. – Борода-то, борода-то всё такая!

– А чего ей будет-то, бороде! – ещё шире оскалился Аким. – А вы вот сильно переменялись. Сильно...

– Неужели? За три года!

– Сильно! – с непоколебимой уверенностью потрянул чёрными с проседью кудрями Аким. – Я сразу никак не признал.

– Серьёзно? – усмехнулся Роман.

– Точно! Поглядел было – кто это идёт? Думаю, что ж это за хранцузский посланник сюды заехал?

Они расхохотались так громко, что лошадь вздрогнула, испуганно потрянув мокрой гривой, попятилась в сторону.

– Балуй, балуй у меня! – поддёрнул её Аким, потянулся к чемодану, но Роман уклонился.

– Не беспокойся, я сам.

Только сейчас он заметил, что перед ним была вовсе не телега, а двухколёсные дрожки с протёртым кожаным сиденьем и красной расписной спинкой.

Роман заложил чемодан за спинку, а Аким принялся быстро крепить его пеньковой веревкой.

– Что ж ты за сараем прятался? – спросил Роман.

– Так ведь вот из-за этой твари, прости господи! – Аким кивнул на лошадь.

– А что такое?

– Да не переносит она всякую машину, хоть убей! Как поезд идёт – держи крепче, не то всю амуницию разнесёт к лешему!

– Так она вроде и не молода.

– В том-то и дело! Третий год дубине, а всё с таким диким манером. Вона и щас – как свисток дали, дёргает, быдто черт её седлает, ей-богу. Такая, прости господи, староверка.

Он затащил верёвку узлом, прикрыл чемодан прибитой к спинке рогожей и, сняв треух, вытер ладонью мокрый лоб:

– Ну, славу Богу, Роман Алексеич, что добрались до наших захолустьев. А то я уж ожидаючи грешным делом такое напередумал... – Он махнул рукой и выразительно кивнул в сторону железной дороги. – Я, отец мой, в эту технику тоже не шибко верю...

– Ну, это ты зря! – усмехнулся Роман, с облегчением кладя ему руку на плечо. – Техника – наше будущее.

– Да оно, может, и так, – недоверчиво пробормотал Аким, разбирая мокрые вожжи, – а всё-таки кобылка-то никогда не подведёт. Это не железяка какая-то.

– Кобылка, Аким Петрович, сдохнуть может! – Улыбаясь и прикрываясь зонтом, Роман влез на сиденье.

– Ну так корми лучшей, и не сдохнет! – засмеялся Аким, проворно вскакивая на сиденье. – А ну-ка, девка, поехали!

Он чмокнул, замахнулся коротким кнutowищем, но не ударил, так как лошадь, несмотря на вязкую землю и перечисленные недостатки, легко взяла с места резвой рысью. Дрожки пока-

тились, разбрасывая грязь. Аким правил не на широкий разбитый большак, а на чуть приметную окружную дорогу, тянущуюся по краю поля и исчезающую в мелколесье.

Роман жадно всматривался в окрестности. Здесь всё было на своих местах – поля, лесок, сломанная липа, серые валуны, разлётшиеся вдоль дороги. Но какая-то печать тревоги и бессилия лежала на всём знакомом, много раз виденном, – то ли потому что весной Роман никогда раньше не приезжал в Крутой Яр, то ли из-за почти бессонной ночи всё казалось таким жалким, родным, до боли маленьким; кусты, деревья были голы, в них стоял лёгкий туман, они тянули свои мокрые ветви к серому, слепящему дождём небу, словно молили о пощаде и милости. Да и поле – широкое, уходящее левым краем в туманную даль, не было сейчас тем самым ПОЛЕМ, по искристому снежному савану которого, визжа мёрзлыми полозьями, гнали, бывало, Акимовы санки; или летом, жарким июльским летом встречало оно Романа, раскинувшись ковром цветущей гречихи: в розовом, пахнущем мёдом воздухе кружили мириады пчёл, ветер гулял по полю, заставляя ходить волнами, колокольчик под синей, обвитой лентами дугой тонко звенел, серый в яблоках рысак Нила Тимофеича нёсся, оставляя за коляской шлейф пыли... Роман вздохнул, придерживая зонт, достал серебряный портсигар с вензелем АВ.

Он давно уже отметил это необычное свойство русской природы – терять ранней весной своё величие, съезживаясь, застывая в жалкой немоте под мелким дождичком. До чего жалок и нем русский лес ранней весной! Стоят богатыри-дубы, вековые дуплистые липы, белоствольные берёзы, стройные ясени и осины, словно слуги, брошенные своим господином на произвол судьбы, стоят с понурой покорностью, распростав голые ветви, будто ожидая неминуемой смерти на этой мокрой безжизненной земле, облепленной прошлогодними листьями. Всё мертво кругом – и кусты, и болото, и поля, всё одинакового серо-бурого цвета. Только что сошёл снег. Ветер гонит облака по бледному небу. Пролетит с тоскливым криком ворона, едва не задев тяжёлыми крыльями голых макушек, и снова тишина. Стоит лес, ждёт чуда – воскресения своего.

“Совсем как люди”, – подумал Роман, закуривая.

Проехав мелколесье, они въехали в молодой смешанный лес. Держа вожжи, Аким покоился на Романа, с грустной улыбкой оглядывающего окрестности:

– Что-то вы загрустили, Роман Лексеич. Не нравится наша-то глухомань опосля столицы?

– Да что ты вздор говоришь... – поморщился Роман. – Мне, может, столица меньше твоего нравится.

И добавил, глубоко затянувшись папиросой:

– Самая грустная пора в природе. Экая мертвенность... Неправ был Пушкин насчёт осени. Унылая пора. Нет. Вот – унылая пора...

Он кивнул на проплывающий мимо лес. Лошадь бежала всё той же неспешной рысью, постёгивая себя мокрым хвостом.

– А места наши, Аким Петрович, я ни на какие столицы не променяю, – уверенно добавил Роман, хлопнув Акима по колену. – На этих вот полях, берёзах, на таких мужиках, как ты, все столицы и держатся!

Усмехаясь в бороду, Аким качнул головой:

– Ну уж, прямо на таких, как я...

– Именно, именно, дорогой.

Тот снова недоверчиво усмехнулся:

– Вам, стало быть, видней. Вы человек учёный, науки знаете. А вот насчёт местов наших – святая правда! Других таких нету. И по землице, и по лесу. И опять же – река, запруда, рыбка разная. А луга какие! Вот за Семёновой делянкой – коси день, не сподкнёсси. Гладкота какая. А Рогаткин луг! А Кострюков! – Он зацокал языком. – Как еду, бывалоча, загляжуся!

– Ты по-прежнему в объездчиках?

– А куда ж я денусь? Такое уж рукомесло моё.

- Жена не бранится, что дома не бываешь?
- Да чего ей браниться... Тпру! Куды тебя лихоманка несёт!

Зачмокав губами и натягивая вожжи, он выровнял лошадь, норовящую свернуть на пересёкшийся большак.

– А что, Аким, Нил Тимофеич всё так же лесничествует? – рассеянно спросил Роман, с жадным любопытством осматриваясь по сторонам.

– Прошлом годе преставился, царствие небесное, – проговорил Аким.

– Ей-богу?

– На Троицу. От удару. Сердце, стало быть, не выдержало.

– Жаль. Хороший человек был...

– Хороший.

– Охоту любил, как никто.

– Святая правда. Без ружья и собаки в лес не ходил. Большой знаток был в охотничьих искусствах.

Аким удовлетворённо вздохнул, довольный произнесённой им фразой.

– А кто теперь лесничий?

– Новый. Адам Ильич Куницын.

– Откуда?

– С Чернигова.

– Дельный человек?

– Ничаво, – без особого энтузиазма ответил Аким. – Порядок любит. Чтоб без воровства опять же. Рыбку ловить уважает. Говорят, раньше большим военным был, да что-то там проштрафился и теперь у нас царствует.

– А лет ему сколько? – спросил было Роман, но, чувствуя, что биография нового лесничего ничуть его не интересует, тут же перебил: – Слушай, Аким Петрович, что, Красновские приезжали летом?

– Красновские... – наморщился Аким, отчего лицо его стало непривычно угрюмым. – Да, приезжали. Как же. Надежда Георгиевна, Пётр Игнатьич. Зоя Петровна опять же.

– Она замужем? – быстро спросил Роман, бросая недокурную папиросу.

Аким пожал плечами:

– А почём я знаю? Может, и замужем.

– Серёжка приезжал с ними?

– Сергей Петрович? Как же. Приезжал. Они тут каждое лето бывают.

– Всё такой же шалопаи?

– А что ему делается.

Роман хотел было ещё о ком-нибудь спросить Акима, но в это время лес неожиданно расступился, открывши прекрасную, подлинно живописную панораму.

Она всегда, во все приезды Романа заставляла его врасплох, появляясь неожиданно, как и положено всему чудесному, поражая и радуя до слёз, заставляя каждый раз замирать.

Аким знал об этом и, не ожидая просьбы, натянул вожжи.

Дрожки остановились.

Чудный вид открывался впереди, дорога тянулась дальше и стремительно шла вниз, под уклон, как и всё огромное поле, окаймлённое по краям синей полоской леса. А внизу, в утренней прохладной дымке по берегам извившейся неширокой лентой реки, лежал Крутой Яр.

Дождь перестал, и, несмотря на лёгкий туман, отсюда с пригорка были хорошо видны дома, сараи, бани, изгороди, ивы, склонившие голые ветви к реке, “журавли”, нависшие над колодцами, мостики, огороды с пугалами.

А над всем этим, чуть подале, вырастала из тумана небольшая, но изумительно красивая белая крутоярская церковь. Роман смотрел так, словно это было последнее, что суждено ему

увидеть на земле, словно вот-вот сейчас промелькнут мгновенья и разлетится этот чудесный мир, исчезнет навсегда среди мрака Вселенной по непреложной воле Создателя. У Романа перехватило дыхание.

Он смотрел не отрываясь, боясь пропустить что-то.

А внизу перекликались петухи, слышались голоса людей и лай собак, тянулись вверх утренние дымы. За церковью, чуть правей, после быстрых изгибов реки виднелся флигель Красновских. Он, казалось, был совсем рядом – протяни руку, и заскрипит дубовая дверь с медной ручкой, пахнёт сушеными травами, встанет из кресла, блестя очками, Пётр Игнатьич... Сердце Романа оглушительно билось.

Он привстал, хотел было дотянуться взглядом и до дубовой рощи, за которой... но тут рука сама опустилась на плечо Акима, а с полураскрытых губ сорвалось на одном дыхании то радостное, опьяняющее, что срывалось всегда:

– Гони!

И Аким погнался, залихватски посвистывая, крутя кнутом над головой, так что влажный ветер засвистел в ушах, вырвал зонт из рук Романа.

– Чёрт с ним! – не оглядываясь, крикнул Роман и снова хлопнул Акима по плечу – Гони, Акимушка, гони, родной!

Они неслись вниз по бескрайнему, круто клонившемуся полю.

– Эгей! Пошла-а-а! – раскатисто покрикивал Аким.

Цыганские глаза его озорно посверкивали, белые зубы скалились в разбойничьей усмешке. Лошадь мчалась галопом, мокрая грива её билась по ветру.

Роман заворожённо смотрел вперёд, вцепившись одной рукой в Акимово плечо, а другой придерживая шляпу.

Ветер высекал слёзы из его глаз, сердце, казалось, остановилось.

Он не просто любил быструю езду, как свойственно всякой русской душе, а питал к ней невыразимую, сильную страсть, охватывающую всё его существо с быстротой степного пожара. И особенно сильно страсть эта проявлялась здесь – на уклонном крутояровском поле.

Сколько раз уже раздавалось сокровенное, словно сердцем промолвленное “Гони!”, вслед за которым свистел кнут, звенел колокольчик, мелькали лошадиные копыта. А как неслись, бывало, Акимовы сани, как пели полозья! Дух захватывало у Романа, он забывал обо всём, сливаясь душой с этим ветром, полем, с озорным гиканьем Акима, становясь почти бесплотным ангелом удали, простора и страсти.

– Пошла! Пошла-а-а! – кричал Аким, нахлёстывая лошадь по сытому крупу, но она и без того мчалась во весь дух, нещадно разбрызгивая дождевую воду.

Крутой Яр был совсем рядом – дома приблизились, засверкала чистая поверхность речки, деревья уже тянулись к Роману, уж до церкви было рукой подать. Показалась развилка.

– Как, через Яр, Роман Алексеич? – крикнул Аким.

– Нет! Давай окружной! – очнулся от опьяняющего забвения Роман, решив в последнее мгновенье прежде всё же встретиться с роднёй.

Аким послушно потянул правую вожжу и дрожки, сбавив ход, стали огибать Крутой Яр по берегу реки.

II

– Ромушка! Мальчик мой! – Лидия Константиновна торопливо спускалась по широкому деревянному крыльцу, придерживая чёрную кружевную шаль, сползающую с её худых плеч.

Спрыгнув с ещё не остановившихся дрожек, сняв шляпу и улыбаясь, Роман шёл ей навстречу.

– Боже мой! Рома! – выдохнула Лидия Константиновна, и тонкие руки её опустились на мокрые плечи Романа.

Стоя ещё на ступеньках, она оказалась почти вровень с ним, поцеловала его влажный бледный лоб. – Тётушка... – пробормотал Роман, целуя ей руку. – Ромушка! – качала она головой, отстраняя и разглядывая его. – Господи, как ты вырос! Промок весь! – Пустяки, тётушка.

– Я так волновалась, ужасно! Слава Богу! Акимуш-ка! – Глядя Романовы волосы, она обратилась к Акиму, который отвязывал чемодан. – Спасибо тебе огромное! Просто спаситель наш.

– Да что уж, Лидия Константиновна, – усмехнулся Аким. – Мы всегда...

– Рома, Рома! – быстро повторяла она, – как славно, что ты приехал. Как славно.

– Я не мог не приехать, тётушка. Я же писал дяде Антону.

– Да что ж с того – писал! Ты прошлый год тоже писал, а потом и не приехал. Ромашка ты, ромашка! – Она потрепала его по волосам, чмокнула в щёку.

– Эге, слышу, слышу звуки жарких поцелуев! – раздался наверху громкий басистый голос Антона Петровича, и его полная большая фигура появилась в распахнутой двери.

– Дядя Антон! – воскликнул Роман, и Лидия Константиновна с грациозным проворством уступила ему дорогу наверх.

– Приехал, приехал, разбойник! – Ступеньки жалобно заскрипели под дядиными ногами, и через мгновение он уже обнимался с племянником.

Аким тем временем, высвободив из пут чемодан, поднёс его к крыльцу:

– Куда прикажете определить, Лидия Константиновна?

– Снеси наверх, Акимушка.

Не переставая усмехаться своей озорной цыганской усмешкой, Аким пошёл в дом.

– Ну здравствуй, брат! – разжал объятия дядя, и они трижды поцеловались. Лидия Константиновна, смахнув краем шали слёзы, смотрела на них.

Дождь перестал.

Редкие капли срывались с навеса над крыльцом, звучно падали в лужи.

Лошадь спокойно стояла поодаль, пожёвывая удила.

– Ну, брат, – качнул осанистой головой Антон Петрович, – ты просто этакой Чайльд-Гарольд или Багратион! Эка! Усы-то, а усы! Красив, красив. Ничего не скажешь.

– Да полноте, дядюшка, – отмахнулся Роман. – Как хорошо, что вы здесь. И тётушка. И вообще, – он оглянулся по сторонам, – как всё мило.

– Да, брат Рома, мы теперь здесь всерьёз и надолго. Как Робинзон с Пятницей.

– Значит, я – Пятница? – засмеялась Лидия Константиновна, кутаясь в шаль. – Хорошо, что не Баба-Яга!

– Ты, Лидочка, – царица Савская, леди Годива, Жанна д'Арк нашего живописного захолустья! – зарокотал Антон Петрович, обнимая сразу Романа и Лидию Константиновну.

– Медведь, медведь! – отмахнулась тётушка. – Ну, пойдём в дом, что же мы на крыльце...

– В шатёр, в шатёр, сын Тамерлана! В шатёр, дитя Агтилы! Где яства ждут и одалиски пляшут! – гремел Антон Петрович, простирая руку к двери.

Они прошли в дом.

Это было обширное двухэтажное строение с двумя большими террасами, бесконечными комнатами, переходящими одна в другую, бильярдной, гостиной с роялем и картинами, с тремя облепленными изразцами печками и мезонином, украшающим крышу наподобие сторожевой башенки.

На внешний взгляд дом мог показаться совершенством: окружённый кустами сирени, он был покрашен в голубой цвет, козырёк крыльца подпирался двумя деревянными колоннами, водостоки сверкали новой жёстью, крыша являла собой образец кровельного искусства, блестящий стеклом мезонин был украшен башенкой с резным петухом.

Но внутри всё было не так совершенно: пол, на который ступил Роман, был гнил и прогибался, обещая когда-нибудь провалиться вовсе, террасы были заставлены и завалены всяческой рухлядью – разохшимися комодами, дырявыми корзинами, птичьими клетками, многочисленными цветочными горшками, чемоданами, саквояжами, смятыми шляпными картонками и книгами, лежавшими почти на всех вещах; гостиная при внешней помпезности походила тем не менее на обнищавшего аристократа – чёрный громоздкий рояль с потрескавшейся полировкой и жёлтыми клавишами был вконец разбит и расстроен, персидский ковёр протёрся в нескольких местах, кожаный диван провалился, кресла тоже; картины, занимающие почти обе стены и изображавшие одна – Неаполитанский залив лунной ночью, а другая – битву при Каннах, местами облупились, золочёные рамы имели совсем плачевный вид, и кусочки позолоты хрустели под ногами, как яичная скорлупа на Пасху. Однако мраморный бюст Вольтера на ребристом постаменте сиял белизной. Комнаты были тесны, запылены, старая мебель сплошь разохлась и покосилась так, что дверцы шкафов не закрывались, а выдвинуть ящики представлялось возможным разве что Геркулесу.

Очувтившись в просторной прихожей, где по-прежнему, как и три года назад, было сумрачно, висели огромные, намертво прибитые к стене лосиные рога, а рядом стояло изъеденное молью, заваленное одеждой чучело кабана с жёлтыми клыками и стеклянными глазами, Роман улыбнулся, повесил шляпу и стал растёгивать пальто.

– Раздевайся, Ромушка, и иди за мной наверх, я тебе комнату укажу, – проговорила Лидия Константиновна, направляясь к винтовой лестнице, ведущей на второй этаж.

В этот момент по ней, скрипя и топая, спускался Аким.

– Акимушка, поставил?

– Поставил, Лидия Константиновна. Всё как велено.

– Смотри не сверзись, Сатир Крутояровский! – громко посоветовал ему Антон Петрович, открывая застеклённую дверь террасы, где виднелся накрытый стол, украшенный букетом распустившейся вербы.

– Роман! Как расквартируешься – немедленно сюда! На расправу! – стоя в двери, гремел Антон Петрович. – Здесь у нас, брат, Крутояровские сатурналии!

– Непременно, дядюшка.

Роман повесил пальто на рога, погладил твёрдую шерстистую морду кабана.

– Спасибо, Акимушка. – Лидия Константиновна дала спустившемуся Акиму деньги.

– Благодарствуйте, – широко улыбнулся он, зажав их в кулак. – Ежели что – так я всегда.

– Мы с тобой, Аким, обязательно на вальдшнепов съездим. В Мамину рощу, – проговорил Роман, разматывая шарф.

– А как же, Роман Алексеич. Съездим. – Он шагнул к двери. – Ну а теперь до свиданья. Пора мне.

– Прощай, Акимушка! – крикнула Лидия Константиновна, проворно поднимаясь вверх по лестнице. – Рома, за мной!

Роман махнул рукой Акиму и стал подниматься по скрипучим, но ещё крепким ступеням, держась за гладкие прохладные перила.

Воздух на тёмной лестнице был тоже прохладным, он пах старым деревом и чердаком.

“Как славно, – думал Роман, медленно, с удовольствием ступая и слушая хорошо знакомый скрип. – Я опять здесь. В этом милом доме. С этими милыми людьми”.

– Ромушка, не отставай!

Лидия Константиновна уже ждала его в верхней столовой с полинявшими обоями и разлапистой, похожей на паука бронзовой люстрой.

В столовую выходили четыре комнаты.

Дверь самой большой из них была открыта.

– Проходи сюда, Ромушка.

Она вошла первой, поправляя шаль. Роман последовал за ней.

Это была его комната. Просторная, с окном, выходящим в сад. И всё в ней по-прежнему оставалось на своих местах: и небольшой платяной шкаф, и конторка красного дерева с бронзовым чернильным прибором, и три книжные полки, и кровать с резными деревянными спинками. И икона Почаевской Божьей Матери.

Чемодан Романа стоял возле шкафа.

– Располагайтесь, Роман Алексеевич. – Тётушка подошла к нему и сняла с его плеча своими тонкими пальцами крошку побелки.

Роман был в отличном твидовом костюме серо-голубого цвета, белоснежной рубашке, белизну которой эффектно оттеняла чёрная шёлковая жилетка и узкий чёрный галстук.

– Выглядишь английским лордом, – качнула головой Лидия Константиновна, с улыбкой разглядывая Романа. – И костюм подобрал под цвет глаз.

– Это вышло само собой. Я, право, не стремился.

– Ну-ну, не притворяйся. – Она легонько шлёпнула его по руке. – Комната тебе хорошо известна, так что будь здесь хозяином.

– Спасибо, тётушка.

– Ждём тебя завтракать через десять минут, все страшно голодные.

– Прекрасно.

Она хотела уже выйти, но вдруг повернулась:

– Рома, может, ты устал с дороги и сразу желаешь отдохнуть?

– Я сразу желаю есть и говорить с вами! – усмехнулся Роман, снимая забрызганные дорожной грязью калоши.

– Отлично. Расскажешь нам про столичную жизнь. Про тётю Катю, про всех-всех.

– Конечно, расскажу.

– Ждём тебя.

Она вышла.

Роман тем временем, покончив с калошами, задвинув их в угол под коротенькую этажерку, положил чемодан на кровать и принялся развязывать ремни.

Затянутые ещё в столице, они поддались не сразу, зато крышка отскочила сама, едва худощавые пальцы Романа прикоснулись к замкам. Чемодан был беспорядочно набит вещами. При всей своей внешней элегантности Роман никогда не был аккуратистом.

Он не хотел, да и не умел беречь красивые дорогие вещи, окружавшие его и служившие ему туалетом. Их состояние привлекало внимание Романа дважды – когда они покупались и когда исчезали в мешке старьевщика. За этот, как правило, короткий период жизни они терпели полное равнодушие хозяина, находясь подчас в весьма плачевном состоянии, в то время как он сам удивительным образом был всегда элегантно одет, тщательно выбрит и модно подстрижен. Так и сейчас, облачённый в прекрасные новые, купленные им неделю назад костюм, рубашку, жилетку, галстук и туфли, он склонился над распахнутым чемоданом, содержание которого во всей полноте являло картину первозданного хаоса.

Чего только не было здесь!

Мятые рубашки с оставшимися в манжетах запонками, китайские цветастые полотенца, голландские носовые платки, нательное бельё, галстуки, парусиновые брюки, панама, карманные шахматы, бритвенный прибор, флакон французского одеколона, расчёска, пара книг, дневник, коробка патронов – всё было перемешано, спутано, скомкано и, казалось, не могло принадлежать этому красивому, точному в движениях человеку.

С небрежностью он разгрёб цветастое месиво, извлёк дневник, набор вязальных крючков и бутылку французского коньяка, оказавшуюся на самом дне.

Всё это было выложено на конторку, сам же чемодан был мгновенно закрыт и запихнут под кровать.

Схватив бутылку и набор, Роман поспешил вниз.

Антон Петрович и тётушка ждали его на террасе.

– Спешите, спешите, принц датский, а то гунны и варвары разорят все базилики! – басил Антон Петрович, стоя у застеклённой веранды и протирая пенсне замшевой тряпочкой, отчего его прищурившееся массивное лицо выглядело одновременно беспомощно и угрожающе.

– Тётушка, это вам от Екатерины Андреевны.

Антон протянул вязальный набор Лидии Константиновне, ставящей на стол корзинку с нарезанным хлебом.

– Спасибо, Ромушка, хорошо, что она прислала... Садись.

– А это, дядя Антон, вам. – Роман поставил бутылку на стол, напротив огромного неподъёмного кресла, где обычно сидел Антон Петрович.

Внушительным движением надев пенсне, тот подошёл, взял бутылку в руки:

– Тэк-с. Прекрасно. Спасибо, брат. Мы его на обед оставим. А сейчас – немедленно всем по местам!

Его могучие руки опустились на плечи Лидии Константиновны и Романа, и им пришлось опуститься на старые венские стулья.

Только теперь Роман увидел, какие прелести ждут его на этом старомодном овальном столе, покрытом белой, с кружевной вологодской вышивкой, скатертью.

В центре рядом с очаровательной китайской вазочкой, в которой стояли веточки ожившей вербы, распласталось такое же фарфоровое китайское блюдо с нежно-розовым куском окорока, маленькими солёными огурчиками, облепленными зёрнами и метёлками укропа, блестящими от рассола. Чуть поодаль стояли три чаши серо-зелёной смальты, полные солёных груздей, помидоров и рыжиков. В солёностях тускло поблескивали серебряные ложки с вензелем НВ. По правую руку Антона Петровича сверкали тонким стеклом два пузатых графинчика, наполненные зеленовато-золотистой и тёмно-розовой жидкостями. С графинчиками соседствовало другое, не менее просторное фарфоровое блюдо, в центре его высилась горка квашеной капусты, из окропленной постным маслом массы которой выглядывали бордовые ягодки клюквы и оранжевые палочки моркови. Этот везувий окружали некрупные мочёные яблоки, от одного вида которых рот Романа пополнился слюной.

Мочёные яблоки дяди Антона!

Роман помнил их неповторимый вкус с детства, с того далёкого времени, когда в большой столичной квартире отца стали появляться эти изумительно пахнущие плоды цвета воска.

Собранные с развесистой, стоящей в самом дальнем углу сада яблони, посаженной ещё дедом Антона Петровича, они заквашивались вот уже двадцать с лишним лет в одном и том же дубовом бочонке по рецепту, взятому покойной матерью дяди у ключницы Почаевского монастыря сестры Алевтины почти пятьдесят лет тому назад.

Антоновка дяди Антона... Без неё не обходилось ни одно крутояровское застолье, как не обходился без высокопарностей сам Антон Петрович.

Этот рецепт, переписанный монахиней в свою очередь у архангельского старца – старовера Никодима, именовался вслух “староверскою закваской”, держался Антоном Петровичем в шкатулке на запоре и никому не показывался.

Не выдержав, Роман протянул руку, взял яблоко, которое, несмотря на долгую, тесную зимовку в прянном рассоле, осталось крепким, и откусил.

– Не вынесла душа поэта! – усмехнулся дядюшка, без спроса наполняя мужские рюмки анисовой до краёв, а женскую – вишнёвой наполовину. – Ну и как староверская наша?

– Дай же человеку прожевать, Антоша, – укоризненно качнула головой Лидия Константиновна, поднимая рюмку.

– Изумительно... – искренне пробормотал Роман, разглядывая яблоко. – Аромат-то какой. Прелесть... А вкус всё тот же остался.

И правда, вкус был всё тот же – кисловато-солёный, терпкий и нежный, пряный и неповторимый.

– Ну-с, Роман Алексеевич... – Большая белая длань с перстнем красного золота на безымянном пальце подняла рюмку. Роман тут же взялся за свою, и через секунду по террасе поплыл тонкий перезвон старинного хрусталя:

– За твой приезд, Ромушка...

– Ваше здоровье, тётушка.

– Будь здоров, Рома.

Анисовая наполнила рот Романа и тут же, как положено только ей одной, исчезла сама по себе, оставив непередаваемый аромат. Роман откусил от яблока.

– Ха... смерть моя... – выдохнул Антон Петрович, ставя рюмку и цепляя вилкой аккуратненький огурчик.

– Прекрасная настойка, – пробормотал Роман, наблюдая за точными движениями тётушки, наполнявшей его тарелку поочерёдно всеми солёностями.

– Ромушка, ты уж не обессуди, мы люди отсталые, не прогрессисты, постимся вот, – с улыбкой произнесла она, накладывая капусту, – и трапеза у нас монастырская.

– А окорок? – спросил Роман.

– Окорок, брат, по случаю твоего приезда. – Дядя, сосредоточенно шурысь, наполнял рюмки. – Мы же не знаем, может, ты давно уже всех богов к чёртовой бабушке послал.

– Антоша, как тебе не стыдно! – качнула головой Лидия Константиновна.

– А что? – удивлённо поднял брови Антон Петрович. – Дело молодое. В эти годы атеизм просто необходим. Я, брат, в тридцать-то лет эдаким хулиганом был. Никаких авторитетов, кроме матушки Науки и великого Иммануила. “Звёзды над нами, нравственность внутри нас”. И ничего более. Ничего!

Он громко захрустел огурцом.

– Дядюшка, я безоговорочно в науку не верю. А поэтому окорока в Страстную есть не стану, – проговорил Роман, принимая от тётушки свою тарелку.

– А вот это – молодец! – загремел дядя. – Правильно! Они, эти дарвины, сами-то ни черта не знают, а туда же – людей учить подряжаются с их ланцетами да микроскопами. Не верь им, Рома, не верь ни на мизинец! И вот что, – он приподнял рюмку, – давай-ка выпьем за человеческую самостоятельность, за трезвый ум и истинную мудрость.

– А за женщину вы пить не собираетесь? – улыбаясь, спросила Лидия Константиновна.

– Ещё как собираемся! – тряхнул своей крупной головой дядя Антон. – За женщину, за крутояровскую Лилит, за прекрасную Лидию-вдохновительницу и заступницу, обожательницу и утешительницу!

– Антоша, что ты мелешь! – засмеялась тётушка, прикрываясь ладонью.

– За вас, тётушка. – Роман приподнял рюмку.

– Спасибо, Ромушка.

– За тебя, Лида.

– Merсі, Антоша.

Выпили.

– Ах... чудеса в решете, – пробормотал Антон Петрович, закусывая рыжиками. – Лидочка, милая, убери-ка ты этого кошона от греха, а то мы его невзначай с чем-нибудь перепутаем.

Лидия Константиновна, развернув салфетку, накрыла ею блюдо с окороком.

– Вот и прекрасно, – одобрительно причмокнул дядя Антон. – А теперь, друзья, давайте воздадим должное нашим яствам, после чего, Рома, ты нам поведаешь о столичном житье-бытье.

Все принялись с аппетитом есть. Поглощая пряные огурцы, хрустящую капусту и тугие, полные густого сока помидоры, Роман искоса посматривал на завтракающую чету Воспенниковых.

Целых три года он не видел этих простодушных милых людей и сейчас, в минуту тишины, столь редкую в этом доме, с любовью всматривался в их почти не изменившиеся лица.

Антон Петрович Воспенников был высоким полным пятидесятилетним мужчиной с крупной головой, крупными белыми руками и породистым, характерным лицом драматического актера, коим ему и довелось быть тридцать без малого лет. Почти тридцать лет столичные сцены сотрясала богатырская поступь этого осанистого, беспредельно уверенного в себе человека, а его громоподобный бас раскатывался по притихшим залам монологами Антония и Отелло, Лира и Бориса Годунова.

В годы своего отрочества Роман успел застать закат этого светила, всю свою жизнь дарящего окружающему миру потоки щедрых, светоносных лучей.

Он и только он открыл для Романа театр, заставил ожить по-новому страницы многих книг, засверкать новыми красками галерею известных образов.

Как он играл Бориса! Какие чувства являло его освещённое рампой лицо! С какой жадностью ловил пятнадцатилетний Роман каждое движение этого лица, каждый жест этих рук, в данный момент спокойно и деловито расправляющихся с большим солёным помидором.

Роман улыбнулся.

Милый, милый дядюшка Антон. Тот же развал седых прядей, то же щеголеватое пенсне “стрекоза”, за хрупкими стёклышками которого всё те же умные, слегка усталые глаза в ореоле припухших век. И шутки прежние – как пять, десять лет назад. И смех. И трогательная, по-детски беззащитная любовь к Лидии Константиновне.

Роман перевел взгляд на неё – спокойную немолодую женщину с необычайно мягкими чертами бледного лица и всегда несколько удивлёнными большими зелёными глазами.

Нет, конечно, она изменилась за это время: и морщинок стало больше, и проседь в густых, стянутых в большой пучок волосах обозначилась сильнее, и в худых плечах уже заметней проступала слабость, нежели былая грация. Чёрная кружевная шаль эту слабость подчёркивала.

Роман любил этих людей, заменивших ему умерших родителей, в их доме он не чувствовал себя чужим и никогда не испытывал стеснения, почти всегда преследовавшего его в обществе столичных родственников, в сердобольных речах которых ему постоянно мерещилось ненавистное, серое слово “сирота”.

– Рома, что же ты рыжиков не попробуешь? – нарушила тишину Лидия Константиновна.

– Спасибо, тётушка. Непременно попробую.

– Попробуй, брат. Обязательно попробуй. – Жуя, дядя положил вилку, нравоучительно поднял палец. – Заявляю тебе со всей прямотой, на кою способен истинный аматёр всех искусств: таких рыжиков ты не отведаешь нигде! Ни-где!

– Верю, дядя Антон, – улыбнулся Роман, накладывая рыжиков с заботливо поданной тётушкой чашки. – У вас так всё изумительно вкусно, так мило. Мне, ей-богу, кажется, будто я ещё тряусь в поезде и вижу чудесный сон.

– Жизнь, дорогой Роман Алексеевич, и есть сон, как сказал Платон, – тут же вставил Антон Петрович, с ловкостью хирурга разрезая мочёное яблоко на четыре дольки. – Очень даже возможно, что действительно всё это тебе снится. Но рыжики не есть сон, рыжики остаются рыжиками, даже во сне. А наши рыжики и подавно. Они, как совершенно верно заметил бы всё тот же Платон, есть некий изначальный эйдос, в себе и для себя сущее, чёрт меня задери!

– Антоша, прекрати, – махнула рукой Лидия Константиновна. – Ромушка, как здоровье тёти Кати?

– Она в добром здравии.

– Слава Богу. Мы здесь всего два месяца, а мне кажется, будто не видела её вечность.

Как успехи Любани?

– Только что вернулась из Швеции.

– У неё были гастроли?

– Да. Два концерта.

– Интересно, как она теперь играет? Я не слышала её больше года.

– Чудно. Накануне своих сборов я упросил её сыграть.

– Что она играла?

– Партиту Баха. Изумительно. И скрипка у неё прекрасная. Новая.

– Какая?

– Гварнери.

– Любаня – прекрасный музыкант, судари мои, – проговорил Антон Петрович. – Одно меня настораживает в ней – слишком лёгкая творческая судьба.

– Что ты имеешь в виду? – спросила Лидия Константиновна.

– Слишком всё прямо и очевидно: консерватория – и сразу же признание.

– Но, Антоша, она действительно очень одарена.

– Безусловно. Однако, когда талант принимается публикой с такой лёгкостью, это может повредить ему. Я имею в виду талант исполнительский. Человек в таких условиях быстро теряет чувство меры, перестаёт трезво оценивать себя.

– Но, дядюшка, это зависит от человека. – Роман отодвинул пустую тарелку и принялся вытирать губы белой салфеткой с тем же вензелем НВ. – По-моему, Любаня как никто трезво оценивает себя. Она запрещает даже вслух хвалить её игру.

– Рома, ну какая женщина способна трезво оценить себя! – развёл руками Антон Петрович. – Если она умеет это делать, значит, просто это загримированный мужчина. Сей род лукав. И в лукавстве черпает силу.

– Какие глупости, – отозвалась тётушка, вставая и направляясь к маленькому плетёному столику, на котором стоял, попискивая, самовар.

– Позвольте, сударыня. – Дядюшка встал с нарочитой проворностью и перенёс самовар на стол.

Вскоре Роман пил из низенькой китайской чашки душистый, крепко сдобренный мятой чай, а на столе вместо солёностей стояли вазочки с вареньем и мёдом.

Разговор шёл о новом увлечении молодого гостя.

Уже более года, как Роман оставил место адвоката и занялся живописью, беря частные уроки и посещая рисовальные классы. Отправляясь в Крутой Яр, он просил тётю Катю выслать заботливо упакованные им этюдник, холсты и краски через неделю, полагая, что не стоит живописать в предпасхальную седмицу.

– Значит, ты теперь рыцарь кисти и палитры. – Антон Петрович прихлёбывал чай из своей огромной фарфоровой кружки.

– И мольберта, – добавил Роман, накладывая себе прямо в чай клубничного варенья.

– Да. И мольберта, – серьёзно произнес дядя, пространно вздохнув. – Что же. По-моему, это расчудесно. Знаешь, я всегда настороженно воспринимал сообщения Катерины и Любани о твоих успехах в области права. Всё-таки зная твой характер... Слава Богу, что ты ушёл отсюда.

– Но, с другой стороны, это давало неплохой доход, – осторожно вставила Лидия Константиновна.

– Ерунда. Главное – человек свободен...

– Тётушка, я же даю уроки студентам. Конечно, получается гораздо меньше моего прежнего заработка, но мне хватает.

– Ну и прекрасно, – одобрительно тряхнул белыми кудрями дядя Антон. – Деньги хороши, когда не залёживаются в карманах. В противном случае от них начинает тошнить. Меня, признаться, жуткое любопытство съедает по поводу твоего художества.

– Меня тоже, – добавила Лидия Константиновна.

– Страшно интересно. – Дядя допил чай и, чмокнув губами, с лёгким стуком опустил кружку на стол.

– Я уверена, что Рома всё может делать талантливо.

– Тётушка, вы преувеличиваете. Я ведь совсем недавно увлёкся живописью.

– Ромушка, а что тебя сподобило на это?

– Трудно объяснить... – Роман пожал плечами. – Я давно, с детства, завидовал художникам.

– Вот это здорово! – воскликнул дядя. – Завидовал!

Значит, пойдёт дело. Если б ты сказал: преклонялся, любил, уважал, – я бы в тебя не поверил. Завидовал! Это замечательно.

– Я попросил тётю Катю выслать все мои принадлежности через неделю. После Пасхи.

– И это верно. Богу – Богово, Аполлону – Аполлоново. И всё-таки мне страшно хочется посмотреть на твои картины.

– Картины – это громко сказано. В основном я пишу этюды.

– Пейзажи?

– Да.

– Ну, тогда здесь ты отведёшь душу.

– Надеюсь, дядюшка, – промолвил Роман и тут же спросил: – А что, Красновские приезжали прошлым летом?

– Приезжали, – ответила тётушка, – все вместе приезжали.

– Как они поживают?

– Слава Богу, хорошо. Пётр Игнатьевич преподаёт в академии, Надежда Георгиевна проводит спиритические сеансы.

– А Зоя?

– Зочка? Она чудно расцвела за последнее время. Такая милая стала, красивая.

– И уже замужем, наверно?

– Нет, не замужем.

– Нынче они приедут?

– Грозилась в мае.

Роман кивнул и молча допил свой чай. Антон Петрович, неожиданно задумавшись о чём-то, сидел с отрешённым взглядом, теребя снятое пенсне. Лидия Константиновна стала убирать со стола.

За стёклами террасы сквозь облака проглянуло солнце, узкий луч упал на край стола.

– Спасибо, тётушка.

– На здоровье, Рома.

Роман встал, подошёл к мутным стёклам. Разросшаяся сирень тёрлась о них голыми ветками.

– Пойду-ка я пройдуся, – бодро решил вслух Роман.

Его реплика вывела дядю из забытья.

Он зашевелился, вздохнул, надел пенсне и тяжело приподнялся:

– Пойди, пойди. Погуляй по нашим палестинам. Я бы тебе составил компанию, да извини, брат, что-то кости ломит с утра.

– Не беспокойтесь, дядюшка. Я всё здесь знаю наизусть.

– Только непременно надень сапоги, Рома, а то промокнешь.

– Конечно, – пробормотал Роман, направляясь к себе наверх.

III

Село, а точнее, поселение Крутой Яр упоминалось ещё в летописи иеромонаха Усть-Покровского монастыря Мефодия, умершего в начале XVII века и повествовавшего о расположении войска Ивана Грозного во время похода на Казань лета 1552-го близ места “Яром Крутым нареченна”. Роман не раз перечитывал эти строчки, выписанные отцом дяди Антона из неподъёмной (по его свидетельству) книги в железном переплёте, украшенном изображениями двух усть-покровских святых – старцев Алексия и Агриппы.

В юности, прогуливаясь по краю крутояровского оврага, Роман давал волю своему воображению, рисовавшему яркие картины: войска Иоанна, расположившиеся вокруг, двенадцать жалких, крытых соломой изб, рассёдланные лошади, затерявшиеся среди гомона, ржания и скрипа, жадно пьющие воду из на глазах мелеющей речки, царский походный шатёр, сооружаемый проворными слугами...

“Неужели и это всё: склоны, поросшие густой травой, и ракета, гнущаяся к воде, и сама река – было тогда? – думал Роман. – Неужели эта глинистая земля, эти валуны возле мостика помнят татар и Смутное время, пугачёвских мужиков и французских гвардейцев?”

Вероятно, в те времена овраг был меньше, а речка – шире, полноводней. Не было ни ракушек, ни берёз на взгорке. А вот укоренившийся над самым обрывом дуб – двухобхватный, кряжистый, с гордой свободой несущий просторную крону – был и помнит всё...

Ступая новенькими сапогами по мягкой, хлюпающей водой земле, Роман подошёл к дубу. Он всегда любил начинать отсюда – с крутого обрыва и могучего дерева, на бугристую кору которого так приятно положить ладонь.

Кора была прохладной и влажной.

Туман почти рассеялся, ветер разгонял серые кучевые облака, солнце показывалось всё чаще.

Роман погладил неровную, твёрдую, как камень, кору дуба, оглянулся. Дом Воспенниковых остался позади на взгорке, а впереди лежал Крутой Яр. Роман двинулся вперёд.

С каждым шагом всё приближалось, росло, наплывало, напоминая о старом, о том, что бережно хранилось в памяти, и о другом – что было уже забыто и вот только сейчас вдруг толкнулось в сознание приятным известием.

“Господи, не сон ли это...” – радостно думал Роман, шагая навстречу избам, тянувшим вверх белые дымы.

И это был не сон: вон уж проступили белые наличники избы хромого пастуха Николая, вот залаял на Романа тот же старый пастуший кобель, из раскрытых сеней высунулась, вытирая руки тряпкой, полная жена пастуха, внимательно разглядывая приближающегося человека.

Роман шёл, с улыбкой следя за постепенным изменением выражения её лица. Застыв в неудобной позе, она долго и напряжённо всматривалась, потом испуганно прижала к щеке коричневую ладонь:

– Батюшки... Роман Алексеич...

– Здравствуй, Матрёна! – весело проговорил Роман, стараясь голосом пересилить заливающегося хриплым лаем пса.

– Ой, здравствуйте, – тихо, нараспев протянула она, качнув головой, и тут же прикрикнула на собаку уже другим – сильным звонким голосом: – Да уймись ты, рыжий чёрт!

Пёс смолк, завил хвостом и отошёл, лениво переставляя лапы.

Из сеней высунулись любопытные личики двух ребятишек.

– Как живёшь, Матрёна?

– Ой, да как мы живём! – протянула она с улыбкой. – Хлеб жуём, да и рады. Вы-то коли проехали-то?

– Только что.

– Господи... – качнула она головой, поправляя слезший на лоб платок. – Ну и красавец же. Не насмотрисси.

– А где же хозяин? Неужель уже стадо гоняет?

– А как же, родимый, не гонять? – оживлённо запела Матрёна. – Чай, и травы-то нету ещё, а что ж ей, скотине-то, в хлеву сидеть, пушай хоть ветки погложет! У меня вон и то, корми не корми – всё одно худая, хоть на рёбрах палкою играй, так пушай уж походит!

Тем временем босоногие ребятишки, выбежав из сеней, стояли рядом с матерью, во все голубые глаза глядя на Романа. По всей вероятности, они были погодки – белобрысые, веснушчатые, в просторных рубахах, заправленных в синие сатиновые портки.

– Милые какие дети у тебя.

– А, сорванцы, – довольно проговорила она, опуская свои загрубевшие ладони на белобрысые головки, – на месте не удержишь... Роман Алексеич, медовухи не желаете?

– Спасибо, Матрёна, как-нибудь в другой раз. Будь здорова. – Роман нетерпеливо двинулся дальше.

– И ты будь здоров, сокол ты ясный! – улынулась Матрёна, провожая его добрым взглядом.

Возле следующей избы Романа громко приветствовал высокий сутулый мужик, стоящий возле распахнутых ворот с топором в руках.

Усмехаясь щербатым ртом, он приподнял с головы выцветшую фуражку:

– Здравствуйте вам, Роман Алексеич!

– Здравствуй, Фёдор, здравствуй.

– Надолго к нам?

– Надолго.

– Ну и слава Богу.

Он взмахнул топором и, не переставая усмехаться, принялся затёсывать торец одной из створ, видимо просевшей за зиму и поэтому цепляющуюся за другую.

С аккуратной избой Фёдора соседствовала большая каменная хата Черновых – многочисленного семейства, скорого на работу, на гульбу и дебоши. Во всём обличии этого просторного дома с двумя резными крыльцами, жестяной крышей, большими палисадом и скотным двором чувствовался достаток – следствие доброй дюжины спорых мужицких рук. Жестяной петух, украшавший крышу, блестел на выглянувшем солнце, у ворот стояла телега, запряжённая широкогрудым жеребцом. Возле телеги суетились два брата Чернова – Степан и Михаил. Один разбирал спутанные вожжи, другой обёртывал холстиной полотно двуручной пилы, дабы не порезаться во время езды. Оба брата были в серых косоворотках, чёрных распахнутых долгопых пальто и чёрных картузах, которые они охотно приподняли, завидя идущего мимо Романа.

– Здравствуйте вам! – проговорил Степан, а Михаил только качнул кучерявой головой.

– Здравствуйте, – ответил Роман.

В распахнутые ворота было видно, как на дворе круглолицая молодка в расшитом деревенском платье и новеньких сапожках раздувала большой медный самовар, а двое ребятишек – мальчик и девочка – сидели на корточках и смотрели.

“Неужели это Катя Большакова? – подумал Роман, успевая на ходу пристально взглянуться в миловидное личико с чёрными глазами и высокими красивыми бровями. – Да. Сомнения нет. Это Катя”.

Она же, не замечая постороннего взгляда, продолжала раздувать самовар сапогом уверенным движением хозяйки. А Роман живо вспомнил другую Катю – босоногого худенького подростка в ситцевом коротеньком платьице, с плетёным кузовком в руке, прибегающую ран-

ним утром под окно воспенниковского дома и будящую тяжёлых на ранний подъём обитателей дробным постукиванием в окна:

– Вставайте!

Она изумительно ориентировалась в родном лесу, выводила на земляничные поляны, залитые солнцем и обрызганные росой, бежала на середину, смешно поднимая худые коленки, припевая: “Сярёдочка мне, сярёдочка мне!”, садилась, и смуглые пальцы с непостижимой для городского человека быстротой обирали ягоду. У ручья она смешно пила из ладошки, по дороге рассказывала деревенские небылицы про ведьм и леших, испуганно крестясь; за обедом у Воспенниковых притихала, ела молча, искоса поглядывая на хозяев.

“А теперь она женщина. Мать двоих детей”, – грустно усмехнулся Роман, следуя дальше по крутояровской дороге.

Кругом стояли лужи.

Солнце вышло из-за туч и поблёскивало в воде. Роман миновал долгий забор по правую руку, череду бань, погребков и ледников по левую и, пройдя овраг с остатками чёрного снега, оказался возле двух домов, стоящих друг против друга по обеим сторонам дороги.

Это были дома двух братьев Егоровых – Бориса и Петра.

Старший, Борис, жил справа, младший, Пётр, – слева. Дома их были похожи как две капли воды – крепкие, добротно поставленные срубы с дощатыми крышами, палисадами, большими воротами, просторными сенниками, скотными дворами и огородами.

Да и сами братья походили на свои дома, оба коренастые, широкоплечие, с сильными мускулистыми руками, с толстомордыми жёнами и многочисленными детьми.

Подходя ближе к домам и присматриваясь к ним, Роман живо вспомнил оба егоровских семейства – образцы деревенской хозяйственности и достатка.

Но чем ближе приближался он к ним, тем более странным казался правый дом: если возле Петровского подворья оживлённо сновала детвора, лаяла собака, двое мужиков в просторных рубахах пилили берёзовые дрова, а третий – голый по пояс – громко крякая и ухаю, тут же рубил их колуном, то возле избы Бориса не было никакого движения: никто не хлопал дверьми, не кричал и не бегал.

Роман невольно поднял голову и заметил, что дым из трубы в этом доме не шёл, в то время как во всём Крутом Яре в этот час топились печи.

Роман подошёл ближе.

Мужики прекратили пилить и колоть, повернулись к нему. Сидящая на крыльце старуха приподнялась и, опершись на клюку, прищурилась на Романа.

– Бог в помощь! – громко произнёс Роман, подходя.

Раскрасневшийся Петр с размаху воткнул колун в колоду, шагнул к Роману:

– Никак Роман Алексеич. С приездом, здравия желаем.

Роман пожал его крепкую руку, двое мужиков, видимо нанятые работники, молча поклонились.

– Здравствуйте, батюшка, – скрипучим голосом проговорила старуха и стала медленно спускаться по деревянным ступенькам.

– Давыно не были у нас – давыно, – качал головой Пётр, разглядывая по-столичному одетого Романа маленькими живыми глазами, спрятанными под густыми рыжеватыми бровями. Рыжая шевелюра его торчала во все стороны, под расплюснутым веснушчатый носом пушились такие же непослушные, но густые усы. На голой груди в рыжеватой растительности блеснул серебряный крестик.

– Здравствуй, Пётр. – Роман сунул руки в карманы пальто, разглядывая всё вокруг. – Как живёшь? Как семейство твоё?

– Да слава Богу, не жалуемсь.

– Сколько же детей у тебя? – Роман посмотрел на трёх ребятишек, подбежавших и, как и подобает всем без исключения деревенским детям, бессловесно осматривавших незнакомца.

– Семеро Бог дал, – усмехнулся Пётр.

– Где ж старшие?

– Семён в плотники в город нанялся, Любашка замужем, Васька с Серёжкой рыбу бить поехали.

– Хорошее дело. И что, много рыбы в этом году?

– Да хватает. Мы с Ваською вчера с трёх вот таких щук лягнули. – Он развёл широко ладони.

– Молодцы. – Роман повернулся к подошедшей старухе и вдруг заметил, что все окна Борисова дома наглухо закрыты ставнями.

– А что, Пётр, брат твой не живёт здесь? – спросил он, в то время как старуха снова повторила своим скрипучим голосом: “Здравствуйте, батюшка”.

Широкое лицо Петра приняло выражение унылого безразличия, по которому Роман, ещё не услышав ответа, понял, что отвечал на этот вопрос Пётр уже не однажды.

– Так он ведь помер у прошлом годе.

– Умер? – искренне удивлённо проговорил Роман, глядя в маленькие глаза Петра.

– Помер, помер, батюшка, царство ему небесное, – заскрипела старуха, крестясь и морща маленькое белёсое личико. Руки и голова у неё мелко тряслись, словно держались на нитках.

– Отчего же?

– Так от дифтериту. – Пётр кивнул одному из крутящих себе сигарки мужиков, и тот подал ему лежащий прямо на дровах тулуп.

– А что же доктор ваш, Ключин?

– Ну, дохтур... – равнодушно протянул Пётр, набрасывая тулуп на свои голые плечи. – Коли б дохтур был, рази ж они померли?

– Кто они?

– Так Борис, Марья да младшой их.

– Что, и Марья умерла?

– И Марья, и Марья-то, сердешная, батюшка, прости господи, – всхлипывая, тряслась старуха, опершись на клюку.

– Они ведь как, дохтур-то, – развёл руками Пётр, подступая к Роману и не обращая внимания на причитания старухи, – у них ведь тоже оказия вышла – мать пралич разбил у городе, так Андрей-то Викторович и поехали. А как же, всё-таки мать – не кто-нибудь. А тут Бориска с заработков возвратился и на второй ден – на тебе, слёг, да и всё. А потом Марья и Матюха. А Федьку с Нюркой мы к себе забрали. А через девять ден-то и померли. Сначала Матюха, апосля Марья, да и Бориска...

Он замолчал, отошёл и вытянул из колоды топор рывком крепкой руки.

Старуха по-прежнему причитала, тряслась, глядя в землю.

Роман помолчал, ярко представив себе лежащего в гробу Бориса, потом спросил:

– А детишки как же?

Пётр поставил полено на колоду, поплевал на руки:

– А что детишки. У нас живут. А подрастут, так хата за ними, куцы она денется. – Он размахнулся и, ухнув, легко расколол полено.

Мужики, не вынимая сигарок из ртов, поднялись, не торопясь взяли за пилу. Постояв немного, Роман достал бумажник, шагнул к Петру.

Тот снова воткнул топор в колоду.

– Вот. – Роман отсчитал несколько бумажек, протянул Петру. – Купи Борисовым детям что-нибудь.

– Благодарствуйте. – Пётр взял деньги, быстро поклонившись, спрятал их во внутренний карман тулупа.

Чувствуя какое-то внутреннее неудобство от всей этой сцены, Роман, сказав “до свидания”, повернулся и зашагал прочь.

А за спиной звенела пила, ухал Пётр, расшибая поленья, и еле слышно причитала старуха.

“Да. Какие суровые повороты судьбы, – печально рассуждал Роман про себя, шагая своим широким шагом. – Три года назад, идя с охоты или с рыбалки, я часто останавливался возле подворья Бориса, пил прохладный домашний квас, вынесенный радушной Марьяшей в большой белой кружке. А Петра я почти не знал. Борис, Марьяша. Какие спокойные, приветливые люди были. Да и красивые, статные. Работающие. И вот – под гробовой доской. Как быстро и безжалостно”.

Проходя мимо старой, лежащей на земле ивы, он сломал ветку с набухшими почками, похлёстывая себя по сапогу, подошёл к реке. Деревенская дорога шла по самому берегу, поросшему осокой, через которую тянулись к воде деревянные мосточки. На одном из них, наверно ближнем к дому, обычно мыла бельё Марьяша – белые полные руки, босые ступни из-под подобранного платья, улыбочное лицо.

– Роман Алексеевич! – раздалось позади. Он обернулся. В десяти шагах по дороге стоял, оперевшись на палку, деревенский учитель – неизменный Николай Иванович Рукавитинов.

– Николай Иванович! – радостно воскликнул Роман и поспешил подойти.

– Роман Алексеевич. – Улыбаясь тихой улыбкой пожилого интеллигента, Рукавитинов приподнял старомодную широкополую шляпу, обнажая маленькую аккуратную головку, с прядями белых, слегка вьющихся волос. Лицо его с прямым, маленьким, острым, как у птицы, носом и выцветшими глазами, спрятанными за круглыми линзами очков, светилось радостью и благожеланием.

Роман в свою очередь снял шляпу и пожал неширокую, но крепкую руку Николая Ивановича.

– Видеть вас здесь, на берегу этой речки, так, право, странно и удивительно! – проговорил Рукавитинов, не выпуская руки Романа.

– Любезный Николай Иванович, что ж здесь удивительного? – рассмеялся Роман, искренне радуясь встрече.

– Ну как же, не говорите, не говорите, Роман Алексеевич. Я издали вас заметил и, право, не узнавал долго. А потом удивился, признаться. Вы – здесь, в это время, весной. Удивительно!

– Да полноте, Николай Иванович, – Роман взял Рукавитинова под руку, и они пошли рядом. – Что же здесь необычайного? Просто я теперь свободный человек.

– Как? Вы больше не служите русской Фемиде?

– Увы! – усмехнулся Роман, отбрасывая прутик. – Не служу.

– И не жалеете об этом?

– Ничуть.

Николай Иванович покачал головой, достал платок из кармана чёрного, слегка потёртого пальто, вытер край глаза. – Да... Вы решительный человек. Я помню, как тогда на Троицу скакали наперегонки на лошадях. С тем, с объездчиком.

Он задумался, неторопливо ступая, опустил голову. Его чёрные ботинки были обуты в калоши, толстая палка с медным наконечником осторожно трогала дорогу. Без малого тридцать лет прожил в Крутом Яре Николай Иванович в небольшом каменном доме возле деревенской школы. Роман привык видеть его в окружении детворы, со стопкой школьных тетрадей под мышкой, в белой летней панаме. Был он холост, или, точнее, вдов, жена его умерла весьма давно – когда ещё жили они в Киеве, где Николай Иванович служил инженером. После смерти жены он сразу взял расчёт, продал имущество и с небольшим саквояжем приехал в Крутой Яр, где в те времена учительствовала его дальняя родственница. Вскоре она, по причине почтен-

ных лет, уступила ему место деревенского учителя, сама же перебралась в Калугу доживать свой век в спокойствии и уюте. Николай Иванович принял новый статус с той спокойной решительностью, на которую по-настоящему способны лишь русские интеллигенты, ломающие свою судьбу раз и навсегда. Все эти тридцать лет он нёс свой нелёгкий крест мужественно и безропотно, борясь со скукой и однообразием деревенской жизни энтомологией и книгами, доставшимися ему в наследство от добросердечной предшественницы. Их было более тысячи, и в скромном, хотя и просторном доме они по праву занимали главное место.

Роман любил и уважал этого человека. Ему нравились добросердечность, простота и бескорыстие Николая Ивановича, он ценил его светлый ум, эрудицию и деликатность. И сейчас, ступая с ним рядом, Роман с удовольствием отмечал постоянство и неизменность всех этих качеств, ничуть не утраченных за три года.

– Так где же ваши ученики? – спросил Роман, помогая Рукавитинову перебраться через лужу.

– Отдыхают. Сегодня воскресенье.

– Да. Я забыл, что дети не учатся по воскресеньям.

– Но, Роман Алексеевич, взрослые, как мне разумеется, тоже не учатся по воскресеньям.

– Вы правы... Да и вообще, ну её к чертям, эту учёбу, службу, зависимость! – весело воскликнул Роман, сдвигая шляпу на затылок и всей грудью вдыхая чудный весенний воздух. – Посмотрите, какая прелесть вокруг! Эти поля, этот лес, ждущий пробуждения. И скоро всё это оживёт, засверкает, зашумит... Дорогой Николай Иванович, – Роман сильнее сжал локоть учителя, – я так рад, что снова здесь! Как здесь хорошо. Как чудно. Ей-богу, теперь отсюда – никуда. К чёрту эти города, эти спруты, перемальвающие людей. Нет ничего лучше и выше природы.

Николай Иванович, улыбаясь, кивал головой:

– Да, да. Но это, милый Роман Алексеевич, вы теперь говорите. А пройдёт месячишко-другой, и завоюете от тоски. И побежите от этой самой расчудесной природы в ваши, как это вы выразились, спруты-города.

– Да нет же, нет! – горячо перебил Роман. – Не побегу! Вот сердцем чувствую – не побегу! Нет у меня в городе ничего – ни дома, ни семьи, ни друзей. *Omnia mea mecum porto*. Так что и возвращаться незачем.

– Ну что ж. Посмотрим, – проговорил Рукавитинов, продолжая улыбаться своей тихой, с оттенком загадочности улыбкой. Они были почти возле его дома, стоящего по соседству с двумя избами и школой.

– Прошу пожаловать ко мне. – Николай Иванович, словно учительской указкой, махнул палкой в сторону своего опрятного белостенного домика.

– С удовольствием, – охотно согласился Роман, расстёгивая пальто. От ходьбы и пригревающего солнца ему стало жарко. Николай Иванович, зажав палку под мышкой, достал из кармана связку ключей, и очень скоро они уже сидели в удобных, хотя и не новых, кожаных креслах, оживлённо беседуя. Роман курил, стряхивая пепел в нефритовую пепельницу, Николай Иванович сидел напротив, закинув ногу на ногу и подперев щеку ладонью. Дом Рукавитинова представлял собой обычную пятистенку, только сложенную из кирпича. Полвека назад его построил один богатый мужик, впоследствии продавший дом деревенской учительнице и уехавший в город. Просторная, почти квадратная комната отгораживалась деревянной перегородкой от кухни с традиционной русской печью и служила Николаю Ивановичу кабинетом, гостиной и спальней. Большая часть пространства здесь была занята книгами. Они до отказа заполнили многочисленные книжные полки, висящие то тут, то там, книжный шкаф, буфет, аккуратными стопками лежали на двух столах – рабочем и обеденном, на подоконниках, на отгороженной ширмой кровати и даже на белых выступах небольшой печки-голландки.

Над большим письменным столом висели, как и прежде, портрет Канта в строгой чёрной рамке, большая гравюра с изображением Вены и любительский портрет маслом покойной супруги Николая Ивановича.

Простенок между окнами был занят развешанными коробками с пришпиленными насекомыми, а именно – жуками, которых Рукавитинов собирал уже лет двадцать. Коробок было много – до тридцати, а покоящихся в них жуков – тьма-тьмушая: большие и маленькие, чудовищные и микроскопические, они располагались ровными рядами, сверкая сотнями оттенков и поражая причудливостью форм.

Эта причудливость конструкций всегда притягивала Романа: будучи мальчиком, он часами простаивал возле застеклённых коробок, разглядывая жуков и читая латинские надписи, сделанные каллиграфической рукой Николая Ивановича.

И сейчас, глядя издали на аккуратную коллекцию, он с удовольствием вспомнил, что вон там висит его любимый *Acrocinus longimanus*.

– Вы по-прежнему пополняете свою коллекцию? – спросил Роман.

– По мере сил.

– И переписываетесь с энтомологами всех континентов?

– Мои иностранные коллеги – не такие уж известные энтомологи. Они собирают жуков. А это дело трудное, хотя бы потому, что их разновидностей и видов не так уж много. Бабочек, например, гораздо больше.

– Да, я помню, Николай Иванович, вы говорили это всегда.

– Ну вот и старый же я попугай! – рассмеялся Рукавитинов, привставая. – Знаете что, Роман Алексеевич, коль уж вы пришли, я позволю себе похвастаться...

– Новое приобретение? – Роман тоже встал, оставив папиросу на краю пепельницы.

– Оно самое, оно самое... – Рукавитинов подошёл к столу, отпер дверцу, выдвинул ящик и бережно вынул небольшую коробку, обшитую чёрным бархатом.

– Смотрите. – Он открыл коробку. – Это мне прислали из Берлинского музея. В обмен на моих сколий.

Роман взял коробку в руки. На шёлковой подкладке лежал жук удивительной красоты. Он был золотистозелёного цвета и весь, от витиеватых рогов до задних ножек, переливался непередаваемым перламутром, словно светясь изнутри.

– Узнаёте? – приблизился Рукавитинов. – Это гвинейский рогач. А по-нашему – *Neolamprima adolphinae*.

Своими формами жук напоминал облачённого в доспехи самурая, но странные пропорции делали это сходство смешным, отчего жука было немного жалко.

– Чудный экземпляр. – Роман вернул коробку Николаю Ивановичу.

– Ещё бы, – с довольной улыбкой ответил тот и принялся убирать коробку в стол.

– Николай Иванович, я вам завидую. – Роман сел в своё кресло и принялся раскуривать потухшую папиросу.

– Есть чему?

– Вашей... – Роман задумался на мгновение, – вашей воле.

Рукавитинов, улыбаясь, опустился в кресло:

– Можно подумать, что у вас её нет!

– Такой – нет, – твёрдо и искренне ответил Роман.

– Ну нет такой – есть другая. Ваша воля. У всех они разные, и ей-богу, я не верю Шопенгауэру, что волевые импульсы индивидов могут быть соотнесены. Это не мускульное усилие, а нечто другое.

– Но разве мы не говорим, например, что сила воли одного человека больше силы воли другого? Что один – волевой, а другой – безвольный.

Николай Иванович снял очки, протирая их платком, ответил:

– Милейший Роман Алексеевич, а вы твёрдо уверены, что воля к жизни – это и есть главный волевой импульс человека?

– Не совсем понимаю вас.

– Ну а воля к смерти не может быть?

Роман молча пожал плечами. Вопрос Николая Ивановича застал его врасплох.

– И не ошибаемся ли мы, безапелляционно награждая званием “безвольного” человека, сидящего в грязной каморке и пьющего дешёвое вино, или какого-нибудь босяка, ставя в пример ему делового человека, трудящегося не покладая рук, пробивающего себе дорогу в жизни, по-нашему – “волевого”?

Роман по-прежнему молчал.

А Николай Иванович, надев очки, продолжал свою мысль:

– На самом деле, вполне вероятно, что у босяка-то воля совсем другая, противоположная воле к жизни, как чёрное противопоставлено белому. У босяка или у пьяницы – это воля к небытию, ибо небытие, то есть покой, не менее притягательно, чем сама жизнь.

“А ведь это верно, – подумал Роман, глядя в спокойное лицо Рукавитинова. – Но тогда придётся ставить под сомнение весь промысел Божий. Ведь не может же Бог посылать людей на землю, чтобы они стремились к небытию?”

Он уже собрался задать этот вопрос, но в это время протренировал дверной звонок. Николай Иванович удивлённо поднял брови, но потом, сморщась, приложил ладонь к виску, покачал головой:

– А-а... Я и забыл совсем...

Он приподнялся с кресла:

– Простите старика, Роман Алексеевич. Я же сегодня трём ребятам назначил прийти. Они болели, по математике отстали. И вот запамятовал, думал, мы с вами чаю напьёмся, а вы мне про столицу расскажете.

– Да полноте, Николай Иванович. Поговорить мы в любое время сможем, например сегодня вечером. У нас. Прошу вас отужинать с нами.

– С большим удовольствием. Я ведь у ваших не был почти неделю.

– Вот и прекрасно. – Роман встал, и они вместе направились через кухню к двери.

Николай Иванович открыл.

Вошли, тихо поздоровавшись, трое ребят с тетрадками под мышками.

– Николай Иванович, как Красновские? – спросил Роман, надевая пальто.

– Вроде хорошо, – пожал плечами Рукавитинов, показывая ученикам рукой на распахнутую в комнату дверь. – Петра Игнатьевича я частенько вижу. Всё так же бодр и оптимистичен. И гедонист, вашего дядюшку за пояс заткнёт. Всё меня в баню приглашает. Париться квасом. Это при моём-то сердце!

Николай Иванович засмеялся.

– Зою вы тоже видели? – спросил Роман, беря шляпу и чувствуя, как забилося сердце при произнесении этого имени.

– Зою?.. То бишь Зою Петровну. Видел летом... Ну что ж, она очень мила, – серьёзно и с теплотой ответил Николай Иванович, – и умна к тому же... Вы зайдёте к ним?

– Да, – ответил Роман, берясь за ручку двери, – я сейчас же иду к ним.

Николай Иванович улыбнулся своей доброй тихой улыбкой. Его пронизательные глаза светились пониманием.

IV

Впервые Роман увидел Зою Красновскую почти семь лет тому назад. Сейчас ему казалось, что это было страшно давно, – душным июльским вечером он, выпускник университетского юридического факультета, в новом бежевом, но слегка запылённом от быстрой езды костюме, с букетом алых роз, промучившихся ночь в духоте вагона, вбежал по ступенькам дядюшкиного дома и был приветствован десятками радостных возгласов гостей, собравшихся на дядюшкино пятидесятилетие за тремя составленными буквой Т столами, занявшими почти всю террасу. Юбилей удался на славу. Антон Петрович был в ударе: облачённый в белый фрак с огромным малиновым бантом, с разметавшимися прядями, он, казалось, ни на минуту не присел к ломившемуся от яств столу; его громоподобный голос гремел не умолкая, так что избранному на грузинский манер тамаде – столичному тенору Сергею Никаноровичу Прянишникову оставалось лишь молча улыбаться происходящему и пить свою любимую померанцевую. Роман, как и все, тоже много пил, ел, смеялся, слушая то слова Фамусова о девушках-патриотках, льнущих к служивым людям, то поучительные речи Фальстафа, то отрывки из “Сорочинской ярмарки”, то мятежный монолог Карла Моора, то, наконец, куплеты-размышления о том, что произошло бы, “если б милые девицы все могли летать, как птицы”.

После застолья на берегу реки был устроен фейерверк, проведённый Рукавитиновым по всем пиротехническим правилам и вызвавший восторг гостей и местных жителей; затем предлагалась лодочная прогулка с зажжёнными факелами, в которой все гости, конечно же, приняли участие. Здесь-то Роман и обратил впервые внимание на пятнадцатилетнюю девушку, а точнее сказать – девочку, оказавшуюся со своим флегматичным балагуром-отцом в лодке Романа.

Она была худенькой, черноволосой и черноглазой, подвижной, как обезьянка, и удивительно милой.

Роман грёб, отец Зои Пётр Игнатьевич Красновский держал пухлой рукой факел, сидя на носу лодки, а Зочка резвилась на лавке супротив Романа.

Всю дорогу она вертелась юлой, плескалась чёрной, как смола, водою, опуская руку за борт, раскачивала лодку, вызывая беспомощные нарекания отца, требовала от Романа, чтобы он “грёб изо всей-всей мочи”, чтобы они “непрерывно были первыми”. Это в конце концов и произошло – Роман обогнал все лодки, включая лодку именинника, неистовавшего за вёслами под многоголосное “Из-за острова на стрежень”, пролетел на одном дыхании узкий перешеек, соединяющий реку с озером, и, выплыв на середину, бросил вёсла.

Подсвеченное по краям ночное небо сверкало низкими звёздами, тёплая, как парное молоко, вода мягко плескалась о борта, Пётр Игнатьевич, побрякивая и хваля всё на свете, стягивал с себя одежду, готовясь ухнуть в озеро своим семипудовым телом, а Зочка, вспрыгнув на лавку, танцевала, прихватив края белого платица кончиками пальцев и громко распевая:

Promenons-nous dans le bois!
 Pendant que le loup n'y est pas!
 Si le loup y etait!
 Il nous mangerait!

Тем летом Роман ещё несколько раз встречал Зою, и всегда это смешное создание вызывало в нём почти детскую радость. Он смеялся, глядя на её дикие выходки, а иногда и участвуя в них, смеялся, не подозревая, что через два года безнадежно влюбится в неё.

За те два года во внешности и характере Зои произошли невероятные изменения, так что перед Романом предстала совершенно другая, будто заново рождённая личность, неведомая и

необычайно притягательная. Все яркие черты детского характера Зои, что выделяли её из круга подружек, нашли себе не менее яркие эквиваленты в характере восемнадцатилетней девушки, развившись и преобразившись с такой чистотой, быстротой и последовательностью, что Роман не мог поверить своим глазам.

С новым, будоражающим и волнующим чувством он отмечал, что там, где раньше было беспримерное озорство, теперь беспримерная для девушки смелость, где была детская хитрость – теперь тонкий ум, где непомерное любопытство – сейчас неутолимый интерес к миру.

И только одна черта её характера – независимость – осталась неизменной, укрепясь в своём принципе ещё сильнее: Зоя была удивительно красивой девушкой, красота её была яркой, сразу же требующей внимания и признания. Роману часто казалось, что она, красота, существует помимо Зои, как некая самоотдельная субституция, наделённая свободой и волей.

И сейчас, приближаясь к дому Красновских, он живо, во всех подробностях представил, как Зоя встретит его в их гостиной, хотя понимал, что застать её здесь весною просто невозможно. Их последняя встреча была давно, очень давно...

Роман медленно поднимался по довольно крутому холму, за которым виднелся большой дом с флигелем. Перед домом росли четыре липы – высокие могучие деревья, голые ветви которых были усеяны галдящими грачами.

Сколько раз они расставались под сенью этих лип, и в прохладной темноте он целовал худые изящные руки Зои, а она, высвободившись, быстрым поцелуем обжигала ему уголок губ и убегала. В просторных кронах мягко шелестел полуночный ветер, Роман стоял, положив руку на дерево, вслушиваясь, как тихо приотворяется невидимое окно, не запертое заботливой няней, и шуршит о подоконник Зоино платье...

В то лето он уезжал раньше обычного – в начале августа, выдавшегося очень жарким. Они прощались тяжело, неестественно, отчего чувство горечи долго потом не покидало Романа, а Зоины глаза, чёрные, как угли, и дурманящие, как винные ягоды, следовали за ним повсюду.

И когда Аким гнал дрожки, запряжённые длинноногим каурым жеребчиком, через дышащие зноем гречишные поля, Роман клял себя неистово за робость, за непоследовательность, за то, что так и не сказал Зое главного, за те неиспользованные мгновения, когда, казалось бы, и так всё ясно, и слова застревают в горле, как ненужные, но потом вдруг начинаешь понимать, что именно слова и были бы важнее всего, важнее объятий и поцелуев...

Поравнявшись с липами, Роман поднял с мокрой земли мокрую чёрную ветку и, размахнувшись, кинул вверх. Потрявоженная стая грачей с шумом снялась с деревьев и, покружившись, полетела прочь.

Большое, немного вычурное крыльцо Зоино дома напоминало Роману портал какого-нибудь венецианского собора эпохи Ренессанса, в глубине которого, однако, виднелась простая некрашенная деревенская дверь с кованым кольцом.

Он взбежал по ступенькам и постучал. За дверью никто не подавал признаков жизни, но Роман упорно ждал с уверенностью: подходя к дому, он видел дым, идущий из трубы.

Прошли долгие минуты, прежде чем кто-то оттянул задвижку и дверь отворилась. На пороге стояла, вытирая руки тряпкой, кухарка Красновских – крутояровская баба Настасья. За три года она поседела и оплыла, но глаза смотрели на Романа всё так же лукаво и приветливо:

– Роман Алексеич. Пожалуйста.

Ничего не спрашивая у Романа и не выказав особого удивления, она отошла в сторону, пропуская в широкую прихожую. Роман шагнул через порог, остановился, осматриваясь:

– Здравствуй, Настасья.

– Здоровы будья, Роман Алексеич.

– Кто дома из хозяев?

– Пётр Игнатьич. Они там пишат.

Роман снял пальто и шляпу, передал Настасье.

– Пойду доложу, – двинулась было она всем своим пухлым телом, но Роман предупредительно обнял её за плечи: – Не надо, не беспокойся. Я сам пройду.

– Ну, как желаетя.

Роман поправил сбившийся галстук перед овальным зеркалом в медной оправе и пошел вперёд по коридору, такому же широкому, как прихожая.

Всё здесь было знакомо – и ковёр на полу, и распахнутая, как всегда, дверь в бильярдную, и старые полинялые обои.

Он открыл дверь кабинета и вошёл.

Первое, что бросилось Роману в глаза, – это отсутствие книжных полок, занимавших прежде обе стены сверху донизу. Теперь на их месте были развешаны фотографии семьи Красновских.

За небольшим письменным столом сидел спиной к Роману грузный лысый человек – профессор истории Пётр Игнатьевич Красновский. С этим человеком Роман был знаком с детства, отношения их были почти родственными. При всей своей полноте и флегматичности Пётр Игнатьевич был страстный жизнелюб, большой поклонник охоты, русской бани и лошадей, которых на конном дворе Красновских (располагавшемся сразу за домом и сенными сараями) держалось целых четыре.

Роман прикрыл за собой дверь, но этот звук не заставил Красновского обернуться. Он по-прежнему что-то писал, то и дело поглядывая в раскрытую справа толстую книгу.

– Здравствуйте, Пётр Игнатьевич, – громко проговорил Роман.

Красновский удивлённо обернулся, мгновенье смотрел, потом движением пухлой руки как-то сгрёб с лица очки и стал подниматься, опершись правой рукой о стол, а левой о стул. И стол и стул заскрипели:

– Рома! Голубчик!

Они шагнули друг другу навстречу, и вскоре Роман ощутил на своих плечах пухлые объятия Петра Игнатьевича.

– Приехал! Приехал! – говорил тот, отстраняясь и тряся Романа. – Приехал... Вот так молодец!

– Я, право, не ожидал вас застать здесь весною, – улыбался Роман, с теплотой глядя в круглое, с двойным подбородком лицо Петра Игнатьевича, которое за всё это время раздалось ещё сильнее и как-то просело вниз, теперь напоминая больше грушу, нежели яблоко. А вот глаза – подслеповатые, маленькие, но по-детски добрые и доверчивые – остались такими же.

– Приехал, – качал головою Пётр Игнатьевич, не выпуская Романа. – Большой-то какой. Ну, совсем взрослый мужчина. Как хорошо... Как хорошо... А я-то думал, так одному и придется на тяге стоять. Ну, хорошо! Теперь отведём-то душу... Ну, садись, садись, дорогой, расскажешь... или нет, нет! Идём вон отсюда, идём водку пить!

Обняв Романа, он отворил дверь. Они вышли в коридор и вскоре уже сидели в гостиной за узким длинным столом чёрного дерева, друг напротив друга.

Пётр Игнатьевич разливал желтоватую, настоянную на лимонной кожуре водку в гранёные хрустальные стопки:

– Вот... Сейчас мы её, проклятую...

Вошла Настасья, неся в одной руке глиняную миску солёных грибов, в другой – корзинку со свежеспечённым ржаным хлебом. Поставив всё это на стол, она с улыбкой покосилась на Романа и вышла.

– За твоё здорovie, голубчик. – Пётр Игнатьевич поднял стопку.

– За ваше здорovie, Пётр Игнатьевич, – чокнулся с ним Роман.

Они выпили. Пётр Игнатьевич смешно сморщился, тряхнул рукой, затем взял кусочек хлеба, понюхал и отложил в сторону, бормоча:

– Закусывай, закусывай, голубчик...

Роман подцепил вилкой шляпку подосиновика и отправил в рот, отметив про себя, что настояна водка очень недурно.

– Ну да как же ты решился на такое путешествие? – спросил Пётр Игнатьевич, сцепив руки замком и облакачиваясь на стол.

Роман ответил, и между ними завязался долгий оживлённый разговор. Пётр Игнатьевич спрашивал обо всём подряд, но, не дослушав обстоятельных ответов Романа, сразу же сам превращался в не менее обстоятельного рассказчика, повествуя о шуке, которую он убил из ружья позавчера, о намерении немедленно отстроить второй этаж, о том, как полезна русская баня, как хорошо вплетать в банный веник мяту и душицу, о его новой гениальной догадке по поводу миграций чувашей, о крутояровских колодцах и, конечно же, о нынешних тетеревиных токах.

– Вообрази, Рома, – торопливо говорил Пётр Игнатьевич, прижимая руки к груди и наваливаясь на стол всем телом, – я лежу в шалашике и премило чуфыркаю. Да, чуфыркаю. И вдруг – фырр-р: летит. Слышу – сел. Но где – не понимаю. Тишина. Я снова натуральным делом – чуфыр, чуфыр. Тишина. Я высовываюсь из шалашика, а он, подлец, как над моей головой загрохочет! Господи, так он же на шалашике сидел, вот ведь оказия какая!

– А вы что же?

– Я выскочил, вдогонку ему из обоих стволов – бац, бац! Да без толку, где же в таком тумане-то попасть!

– Да, забавный случай.

– Ещё бы! Ещё бы, голубчик мой! Я сроду тридцать пять лет охочусь, а такого, чтобы на шалаш надо мной уселся, – упаси Бог...

– Пётр Игнатьевич, как ваши лошади? – перевёл Роман разговор на другую, совсем уж изъезженную колею, чувствуя, что не в силах больше сидеть и слушать бесконечные истории. Разговор же о лошадях требовал похода на конюшню.

И действительно, минут через десять они уже стояли на деревянном настиле, под которым хлюпала грязь и навозная жижа. Пётр Игнатьевич в наброшенном на спину полушубке оттягивал увесистую задвижку стойла:

– Ну-ка, родимые мои...

Он дёрнул ворота, и они со скрипом подались, открывая тёмное пространство конюшни, где стояли в стойлах, жуя сено и потряхивая гривами, три лошади.

Пётр Игнатьевич отвязал всех трёх и выпустил во двор.

Лошади неторопливо вышли, пофыркивая и постёгивая себя хвостами. Настил прогибался под их копытами, и чавкающие звуки заполнили двор.

– Вот красавцы мои. – Пётр Игнатьевич стоял, сложив руки на животе и не в силах оторваться от лошадей.

Они действительно были красивы – две тонконогие, поджарые кобылы каурой масти и серый в тёмных яблоках рысак.

Роман подошёл к нему, протянул руку, положил на плечо.

Рысак вскинул голову, ноздри его трепетали, он стриг ушами и подрагивал мускулами.

Роман гладил его тёплое, налитое силой плечо:

– Какой красавец... Давно он у вас?

– Второй год. Я его жеребёнком взял.

– Как звать?

– Перун.

Услышав своё имя, жеребец вскинул голову и покосил глазом на Петра Игнатьевича. В такой стойке он был отменно хорош.

Кобылы тем временем, пофыркивая, обнюхивали бревенчатый забор.

– Как их звать? – спросил Роман, подходя к кобылам, которые при его приближении дёрнулись в сторону.

– Лада и Кострома. Хорошие лошадки? – Красновский неотрывно смотрел на них, улыбаясь и моргая. Глаза его слезились от бодрящего весеннего воздуха, гладкая лысая голова сияла на полуденном солнце, как бильярдный шар. Роман хотел было спросить родословную, но со стороны дома послышался какой-то шум, чьё-то бормотанье и резкий, почти визгливый голос Настасьи.

– Что там за чёрт... – недовольно пробормотал Пётр Игнатьевич, поворачиваясь.

Судя по голосам, Настасья бранилась с каким-то мужиком. Она что-то быстро внушала мужику, потом прикрикивала на него; он же возражал ей достаточно настойчиво, хриплым глуховатым голосом. Постепенно вскрики Настасьи участились и закончились настойчивыми призывами в адрес Петра Игнатьевича.

– А-а-а, чтоб вас черти разорвали, – пробормотал он, хлопками ладоней пытаясь загнать лошадей в стойло.

Но лошади не слушались, топтались, жались по углам двора. Весенний воздух притягивал их.

– Ну ладно, проказники, подышите, – проговорил Пётр Игнатьевич. – Пойдём, Ромушка, посмотрим, что там эти древляне творят.

Они вышли с конного, Красновский запер косую дверцу на деревянный клин и своим косолапым, но решительным шагом направился к дому.

Драма разыгралась в открытых воротах скотного двора, который, в отличие от конюшен, прямо примыкал к дому.

Когда Роман с Петром Игнатьевичем вошли на скотный, их взору открылась следующая картина: Настасья выпихивала рогатым хватом для горшков здоровенного бородатого мужика в распахнутом армяке, надетом на голое тело, в грязных красных штанах и ещё более грязных сапогах. Мужик что-то ожесточённо бубнил, то и дело перехватывая направленный ему в голую волосатую грудь хват и легко отводя его в сторону своей ручищей, Настасья же голосила непрерывно, трясясь и подступая к нему:

– Иди, иди, отсюда, пролик окаянный, пьяница чёртов, прости господи! Чтоб тебя собаки съели, бес ты водяной! Чтоб ты в подпол провалился! Чтоб у тебя брюхо лопнуло, живоглот проклятый, наказание моё!

– Да погоди ты, дура непонятливая! – пытался вставить слово мужик, но Настасья перебила его, заголосив на добрые пол-октавы выше:

– Пётр Игнатьич! Пётр Игнатьич! Пётр Игнатьич!

– Я Пётр Игнатьич! – сердито проговорил Красновский, стоя позади их. – Что здесь происходит?

Звук его голоса магически подействовал на пререкающихся: они перестали браниться, повернулись к Петру Игнатьевичу и подошли ближе, имея вид довольно-таки покорный, хотя подбородок у Настасьи всё ещё подрагивал, а мужик косил на неё диким взглядом неистовых смоляных глаз, спрятанных под густыми чёрными бровями.

Роман тут же узнал в нём одиозную крутояровскую фигуру Парамона Коробова по прозвищу Дуролом.

Этот похожий на исхудавшего медведя-шатуна мужик давно уже стал ходячей крутояровской притчей во языцех. Ещё мальчиком, приезжая летом в Крутой Яр, Роман слышал передаваемые из уст в уста бесконечные истории о проделках и похождениях Дуролома. Говорили, что он родился где-то в Сибири, чуть ли не в семье ссыльных бунтовщиков. Потом судьба занесла его в здешние места. Двадцати трёх лет он женился на девушке из соседнего села, но, прожив с ним год, она умерла в родах. Ребенок родился слабеньким и умер через несколько месяцев. Парамон запил, постепенно продавая имущество, и кончилось тем, что, продав дом, пристал

к цыганскому табору и пропал на девять лет. Вернулся он, по словам старожилков, “каким-то чумовым”: хозяйство заводил не стал, а нанимался на работы к старикам да вдовам, живя у кого придётся. Работу ему поручали самую простую и грязную, в основном используя его непомерную физическую силу. Он копал колодцы и погребя, таскал мешки с зерном, чистил выгребные ямы и пас свиней.

Но прославился Парамон не выкопанными погребями, а своими дикими и нелепыми проделками.

Так, вывернув тулуп наизнанку и вымазав лицо сажей, любил он зимним субботним вечером поугарать выходящих из бани баб или во время службы в церкви так выкрикнуть “Господи, помилуй”, чтоб местный священник отец Агафон испуганно присел, уронив кадило. Он катался с ледяных гор в липовой шайке без дна, бил ворон из какого-то невероятного турецкого пистолета, заряжая его горохом, лазал весной по деревьям, воруя и поедая птичьи яйца, ездил на ярмарку, “дабы попотешить жилку”, то есть подраться в кулачных боях, и возвращался весь избитый и изорванный, с ворохом невероятных историй. Любил он затевать споры, биться об заклад по любому поводу или быть свидетелем на тяжбе; любил подговаривать мужиков на различные рискованные предприятия, как то: гнать телеги наперегонки по полю, ловить ночью раков на поросычий визг (поросенка полагалось держать по шее в воде), меняться чем попадая – сапогами, жилетками, шапками; копать несуществующие клады и, конечно же, – пьянствовать.

Пить горькую Парамонша Дуролом мог бесконечно и выпивал всё, что ставилось перед ним, долго не хмелея. Потом, однако, пьянел самым чудовищным образом, наводя страх на окружающих.

Так, однажды на деревенской свадьбе он залез под стол и, приподняв его, опрокинул на гостей; в другой раз, страшно напившись на Пасху у вдовы Кораблихи, разделся донага и отправился “креститься водою и Духом Святым во реке Иордане”, то есть в местной речке.

Много раз бывал бит за мелкое воровство: то горшок каши стащит из тёплой печи, то сушащуюся на заборе дырявую рубаху, неоднократно изгонялся из Крутого Яра всем миром, но всякий раз возвращался с повинною, желая усердной работой загладить грехи, и бывал прощён.

Сейчас же он, слегка ссутулившись, стоял перед Петром Игнатьевичем и Романом, быстро переводя глаза от одного к другому, и выражение его чудного лица было таким, словно он решал: бить ли ему их или покорно подставить себя под удары. Роман с интересом разглядывал Парамона. Его узкое скуластое лицо с острым, слегка горбатым носом, большим ртом, кустистыми бровями и чёрными глазами не было ни красивым, ни безобразным. Оно было чудным, и эта характеристика, по мнению Романа, была наиболее точною.

Парамонша Дуролом совсем не изменился за эти годы, разве что седина кое-где мелькала в его лохматой голове и бороде.

– Что здесь происходит? – повторил свой вопрос Пётр Игнатьевич.

– Да вот, пролик окаянный, пристал ко мне как репей! – затараторила Настасья, во все широко выпученные глаза глядя на Красновского и идя к нему своим мелким утиным шагом. – Говорит, денег ему надо на лекарства, а какое же лекарство-то дубине-то эдакой, это ж я знаю, какое такое лекарство-то – зелья своего змеиноного напиться и опять срам творить, вот какое такое лекарство!

– Да что ты мелешь, дура! – перебил её Парамон, подходя следом к Петру Игнатьевичу – Тебя да за такие слова живьём съест мало! Начхать мне на вино, ты мне деньги отдай! Я ж ей, вше платяной, позавчера два воза дров сколол, а она всё харчами да харчами! А мне мои лекарства нужны! У меня, мож, грудя горят! – И словно в доказательство сказанного, он распахнул свой выдавший виды армяк, обнажив широкую волосатую грудь с болтающимся на толстом шнурке медным крестиком:

– У меня, Пётр Игнатьевич, третий ден у грудях быд-то змеюшный царь поселился! Вот здесь! – Дуролом глухо стукнул себя в грудь, сверкая глазами и наступая на Красновского. – Быдто игрища свои справляет, на мою погибель! Я уж и свечку ставил, и отец Агафон водою святой брызгал – ничего не помогает! А она, дура невразуменная, деньгу зажала, а я-то, мож, лекарства купил бы да и поправился, за что ж мне помирать во цвете лет?!

– погоди, погоди, Парамон, – строго перебил его Пётр Игнатьевич. – Не кричи. Настасья, он тебе вправду дрова колол позавчера?

– Колол, батюшка, – тихо проговорила Настасья, как-то сразу обмякнув и опустив глаза.

– Колол! А как же! Вон вишь, поутихла сразу, мокруша подтынная! – загудел Парамон, но Пётр Игнатьевич махнул на него рукой:

– Замолчи!

– Да как же молчать-то, отец родной! – выкрикнул Парамон, дёрнувшись всем телом. – Ведь люди-то – звери! Ведь я ж с чистым сердцем, со святою простотой, а мне вон – рогачом в бок! Я ж колю, колю, а сам-то как святые угодники – всё даром да опосля, мол, отдашь! Яко наг пришел, мзды не имал, прости, Господи, душу раба твоего!

Он стал быстро креститься своей большой жилистой рукой.

Настасья всхлинула и опять заговорила быстро-быстро, но уже с повинной интонацией:

– Батюшка Пётр Игнатьевич, я же ему, дураку-то, говорила, вперёд как нанять-то, что вдовица ведь, я ж коровку купила в Рождество, до сих пор должная, я ж говорила, что отдам к Пасхе, мне ж кум привезёт денег, а он припёрся, с ножом к горлу пристал – отдай, и всё. Отдам, отдам, пролик окаанный! Отдам, только жилы-то из вдовицы беззащитной не тяни...

Она всхлинула и, волоча ухват по грязи, пошла к дому.

– Успокойся, Парамон, отдаст она тебе, – проговорил Пётр Игнатьевич без прежнего напряжения и даже с неким безразличием, – отдаст...

Роман достал портсигар, открыл и протянул Красновскому.

– Mercí. – Пётр Игнатьевич взял папиросу.

Парамоша Дуролом между тем с упрямой тоскою смотрел вслед удаляющейся Настасье:

– Да мне денег не жаль. Что деньги – труха, пыль подмётная. Мне, Пётр Игнатьевич, лекарства надобно.

– Лекарствия? – вяло переспросил Пётр Игнатьевич, прикуривая от поднесённой Романом спички.

– Лекарствия, – убеждённо повторил Парамон. – А то выгорит всё нутро дотла и, стало быть, не в чем будет душе держаться. Так вот и пекёт и пекёт...

Он почесал голую грудь.

– Настасья! – неожиданно крикнул Пётр Игнатьевич ещё не успевшей скрыться кухарке.

– Аиньки? – живо обернулась она.

– Принеси стакан водки с огурцом!

Настасья постояла немного, потом, вздохнув, пошла в дом.

Её возвращения ждали молча.

Пётр Игнатьевич курил, философски оглядываясь вокруг, Роман стоял, сунув руки в карманы пальто, думая о Зое. Дуролом несколько растерянно топтался перед ними.

“А если Зоя не приедет? – подумал Роман, стряхивая легковесный пепел себе под ноги. – Да и вообще, я же ничего не знаю о ней. Где она? Свободна ли она? Помнит ли обо мне?”

Вскоре появилась и Настасья. Мелко семена и шлёпая сапогами по грязи, она несла перед собою небольшой круглый медный поднос, крепко держа его обеими руками. На подносе стоял стакан с водкой и лежал на блюдечке солёный огурец. Поравнявшись с Петром Игнатьевичем, она остановилась.

– Вот, Парамоша, тебе лекарство, – проговорил Красновский, бросая недокуренную папиросу и наступая на неё ногой. – Выпей и ступай с Богом.

При этих словах Парамон как-то весь сгорбился, руки бессильно повисли и лицо словно постарело. Он подошёл к Настасье, перекрестился, взял стакан и выпил одним глотком, попетушиному дёрнувшись головою вверх.

– О-о-оха... грехи наши... – шумно выдохнул он, ставя стакан на место и нюхая левый рукав армяка. – Благодарствуйте, Пётр Игнатьевич, благодарствуйте...

Голос его сразу стал спокойным.

– Закуси хоть, эфийеп, – прошипела Настасья.

– Благодарствуйте. – Дуролом взял огурец и сунул в карман штанов. – Мы огурчик-то лучше к обеду сбережём.

– Сбереги, брат, сбереги, – кивнул со смехом Пётр Игнатьевич, – а к Настасье не приставай. Отдаст она тебе деньги.

– Да что мне деньги! – улыбаясь, махнул рукой Парамон. – Аз есмь птица Божья – что клюнул, тем и жив...

Он стремительно развернулся и зашагал прочь своей дёрганой походкой.

– И-ишь, фанфарон... – усмехаясь и втягивая голову в плечи, пробормотал Пётр Игнатьевич. Настасья молча двинулась назад. Роману вдруг стало скучно. Он зевнул, не прикрывая рта, и только теперь почувствовал сильную усталость. Ему представилась большая белая подушка со всё тем же НВ, заботливо вышитым тёткиной рукой.

– Пётр Игнатьевич, а что, Зоя приедет летом? – спросил Роман.

– Так она с Надеждой на Пасху обещались, – лениво откликнулся Красновский, по голосу которого чувствовалось, что и он не прочь соснуть.

– На Пасху? – переспросил Роман.

– Ага...

Романа словно подтолкнули.

Он быстро попрощался с зевающим и вяло удерживающим его Петром Игнатьевичем и, пригласив его на ужин, пошёл домой.

V

На обрызганной кельнской водою, обшитой кружевами свежевзбитой тёткиной подушке Роман проспал часа четыре.

Проснувшись, он открыл глаза и первые мгновения с удивлением вглядывался в очертания притемнённой сумерками комнаты. Но неповторимый переплёт рамы тут же вывел Романа из забытья. Он всё вспомнил и, улыбаясь, сладко потянулся. Дневной сон в дядюшкином доме всегда во все времена для Романа был лёгким и восстанавливающим силы, и теперь, потягиваясь, он с радостью почувствовал бодрость и сладкую истому.

“Как хорошо, что я здесь, – подумал он, откидывая стёганое пуховое одеяло и закладывая руки за голову, – наконец-то”. Он вспомнил, как, просыпаясь в маленькой квартирке, которую снимал в столице, каждый раз думал о своей крутояровской комнатке, о том блаженном состоянии покоя, когда, пробудившись ото сна, можно вот так лежать, глядя в высокий белый потолок или в окно, и чувствовать себя по-настоящему свободным.

Роман протянул руку, взял со стоящей у изголовья тумбочки папиросу, размял и закурил.

“Нет, человеку творчества нужна только свобода, – думал он, спокойно затягиваясь и скашивая глаза на янтарный огонёк. – Любая зависимость, будь то служба или семья, губят человека. Даже не собственно человека, а то свободное дыхание, которое и способно породить мысль или художественное произведение. Творческая личность не должна ни с кем делиться своей свободой. Но с другой стороны – любовь? Ведь безумно влюблялись и Рафаэль, и Гёте, и Данте. И это не вредило их творчеству, а наоборот, помогало...”

Роман встал и подошёл к окну.

“Ведь они же делились своими чувствами со своими возлюбленными. И это их, наоборот, вдохновляло, придавало силы. А по человеческим меркам большая любовь должна целиком подчинить человека, не оставляя места ни на что другое”.

Он задумался, разглядывая сумеречный сад под окном с голыми переплетёнными ветвями, подпирающими вечернее чистое небо, и тут же пришла мысль, пришла легко и просто:

“Да ведь они же любили-то не как обычные люди! Вот в чём дело. Ведь свою любовь они сделали частью своего творчества, поэтому она и помогала им. А люби они просто, по-человечески, так, может быть, и не было б тогда ни «Божественной комедии», ни сонетов Петрарки и Шекспира. Их возлюбленные были их персонажами, вот в чём суть”.

Роман отошёл от окна, зажёл две из четырёх свечей стоящего на бюро шандала и, не вынимая папиросы изо рта, принялся переодеваться.

Спал он всегда в своей любимой шёлковой китайской пижаме, подпоясанный шёлковым шнурком с кистями.

Снявши её, Роман надел белую рубашку, вязаную розовую безрукавку, лёгкие бежевые домашние брюки и, причесавшись перед зеркалом костяным гребнем покойного отца, стал повязывать серый галстук.

“Интересно знать, который теперь час? – думал он, завязывая узел и прилаживая его строго по центру. – Попробую угадать. Проверим, Роман Алексеевич, как вы чувствуете время”.

Повязав галстук, он опустил руки и, стоя перед зеркалом, проговорил:

– Сейчас шесть часов вечера.

Потом подошёл к бюро, взял свои круглые плоские карманные часы на чёрном шёлковом шнуре, поднёс к свечке. Стрелки показывали без четверти семь.

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – усмехнулся Роман, пряча часы в задний кармашек брюк. – Наверно, все уже за столом, а ты спишь, как Силен.

Быстро погасив свечи медным колпачком, он поспешил вниз.

Роман не ошибся: гости и хозяева ужинали в гостиной, куда был перенесён стол с веранды ввиду значительной прохлады весенних вечеров.

Ужин начался недавно – с полчаса назад. По настоянию тётушки Романа решили не будить, поверив заверениям Антона Петровича, что “Рома непременно проснётся сам, так как он не кто иной, как настоящий gentleman”.

Роман быстро вошёл в гостиную, громко желая здравствовать всем присутствующим, тут же раздались радостно-удивлённые возгласы, загремели отодвигаемые стулья, гости принялись здороваться с ним и целоваться.

Их было не так уж много, в основном одни мужчины: Рукавитинов, Красновский и батюшка отец Агафон, а в миру – Фёдор или Агафон Христофорович Огурцов с супругой Варварой Митрофановной.

– Ну вот, судари вы мои, что я говорил! – рокотал Антон Петрович, сидящий во главе стола и тоже приподнявшийся с места.

Роман пожал руки Николаю Ивановичу и Петру Игнатьевичу, поцеловался с отцом Агафоном и с Варварой Митрофановной, которые буквально прилипли к нему с двух сторон и, не переставая издавать радостные восклицания, взявши Романа под руки, повели к столу. Это была милая простодушная чета, и он и она до удивительного походили друг на друга. И Фёдор Христофорович, и Варвара Митрофановна не отличались высоким ростом, имели полное сложение, пухлые короткие руки с пухлыми белыми пальцами, мучнистые, слегка одутловатые лица с почти одинаковыми маленькими круглыми носами, походившими на молодой розовый картофель. Отец Агафон был пятидесяти восьми лет, носил рыжеватую, с сильной проседью бороду и такие же по цвету, длинные до плеч волосы, обрамляющие гладкую розоватую плешь. Его маленькие острые глазки с рыжеватыми, а поэтому незаметными ресницами непрерывно моргали, словно стараясь поспеть за ртом, не закрывающимся ни на миг.

Службу и приходские дела о. Агафон вёл исправно, хоть и с некоей суетливостью, причиною коей были отнюдь не скарденность и расчёт, а особая склонность его мягкого и отзывчивого характера. Сердце у о. Агафона было добрым, крутояровцы его любили и уважали.

Варвара Митрофановна была лет на шесть моложе супруга и ничуть не отставала от него в суетливой подвижности членов и в непрерывных словоизлияниях.

Огурцовы жили в Крутом Яре уж более тридцати лет, детей им Бог не дал, зато у них был прекрасный яблоневоый сад с пасекой в пятьдесят колод, большое подворье с бесчисленной скотиной и птицей и просторная, изукрашенная местными дереворезами баня с купальней, стоящая на речке на крепких дубовых столбах.

О. Агафон и его супруга были на удивление радушными людьми. По гостеприимству и хлебосольству в округе с ними никто не мог сравниться, их двухэтажный дом всегда кишел родственниками, знакомыми, малознакомыми, а то и вовсе незнакомыми. По будням здесь садились обедать сразу человек пятнадцать – двадцать, в праздники – все сорок. Но особенно трепетно и ласково здесь относились к детям. Им позволялось всё, все двери для пяти-, семи-, семнадцатилетних Танюшек, Тишек и Настасьюшек были открыты, что подчас приводило к разного рода оказиям: битью посуды, потасовкам, объеданиям сладостями и многому другому.

И хотя вообще к детям чета Огурцовых питала невероятную слабость, но слабость и симпатия по отношению к Роману у них вовсе не знала границ.

И сейчас, идя с ними под руки и слушая непрерывный поток восторженных, радостных и удивительных восклицаний, Роман сразу вспомнил все свои шалости в их доме, вспомнил пироги и кулебяки, печённые Варварой Митрофановной на его именины, вспомнил их сад, где он валялся в траве, пасеку, где ел сотовый мёд, запивая молоком, купальню, с мостков которой нырял в речку. И церковь, милую крутояровскую церковь, где он впервые уверовал в Бога...

– Голубок ты наш ясный! Прилетел наконец к родному гнёздышку! Обрадовал всех, слава тебе, Господи! – быстро говорила Варвара Митрофановна, крепко держа Романа под левую руку, а справа шуршал чёрной шёлковой рясой отец Агафон:

– Облаготельствовал, Ромушка, истинно облаготельствовал! Ко святому празднику, Богу на радость, нам на умиление! Ой, как же я рад, помилуй Боже!

– Федя, так я ведь сон видела вчера, как будто журавлики мимо нашего дома летели, а один спустился и на крышу сел!

– Сны вещие мы все видеть мастера, – перебил её Антон Петрович. – Я видел, как зимою липа цвела, а Лидочка – как у нас под окном клад нашли золотой.

– Да не золотой, Антоша! – махнула рукой Лидия Константиновна. – Клад, а в нём младенец живой.

– Господи, вот чудеса! – удивилась, крестясь, Варвара Митрофановна.

– Обрадовал, вот обрадовал! – повторял отец Агафон, свободной рукой поглаживая свою бороду. – Теперь пасхальную утреню служить сил прибавится! Экий гость в наших краях!

– Надежда Георгиевна с Зюечкой тоже к Пасхе обещались, – проговорил Пётр Игнатьевич, тяжело садясь на своё место.

– Ей-богу?! – почти одновременно воскликнули Огурцовы, ещё крепче сжав руки Романа.

– Обещались, обещались, – кивал лысой круглой головой Красновский.

– Дай-то Бог, вот славно было бы!

– Надежда Георгиевна! Я её год не видела!

– А Зоинька, деточка моя! Ну вот уж радости-то было б!

– Вот был бы праздник-то, Господи, твоя воля!

– Как хорошо, как хорошо бы! – жмурясь и качая головой, повторял отец Агафон. – И Антон Петрович с Лидочкой, и Пётр Игнатьевич с Надеждой Георгиевной, Ромочка, Зоинька, Куницыны и опять же Николай Иванович с...

Он запнулся, моргая белёсыми ресницами, а Николай Иванович тут же дополнил своим мягким вкрадчивым голосом:

– Со своими жуками.

Все рассмеялись, Антон Петрович захохотал, звучно хлопнув от удовольствия в ладоши:

– Ах-ха-ха! Нуте-с, честные господа, шутки-шутками, а стол не забывать! Таков приказ фельдмаршала! Прошу садиться, хоть у нас и Страстная, а овощами Бог не обделил, так что прошу покорнейше!

Посмеиваясь над шуткой Николая Ивановича, все стали садиться.

Батюшка с попадѣй сели слева от Романа, Лидия Константиновна и Антон Петрович – справа. Пётр Игнатьевич и Николай Иванович расположились напротив.

В отсутствие Романа гости и хозяева успели отведать всё ту же анисовую и закусывали теми же мочёными яблоками, квашеной капустой и грибками. Рюмка Романа во мгновение ока наполнилась желтовато-золотистой настойкой, а его тарелку тётушка принялась заботливо нагружать всем, что было на столе.

– Милые мои братья во Христе! – громко, но с теплотой в голосе проговорил, приподнимаясь, о. Агафон, держа рюмку пухлой, слегка подрагивающей рукой. – Позвольте просить вас всемилостиво выпить за здоровьице нашего Ромушки.

Всем пришлось снова встать, потянуться рюмками к Роману, который уже начинал ощущать неловкость от обилия всех приветствий и тостов, обращённых к нему за сегодняшний день.

– За соколика нашего сизокрылого! – пропела Варвара Митрофановна и первая чокнулась с Романом.

– Благодарю вас... покорнейше благодарю... – бормотал Роман, улыбаясь и чокаясь.

Все выпили, и каждый, как водится, отреагировал на анисовую по-своему: Роман коснулся кончиком сильно накрахмаленной салфетки своих усов; Антон Петрович издал звук, похожий на тот, что издавал сегодня Пётр Егоров, расшибая поленья; отец Агафон сморщился, качнул головой и, прошептав: “Грехи наши...”, сразу принялся закусывать; попадья сказала: “Ой”; Пётр Игнатьевич крикнул, выпучил глаза, оттопырил губы и некоторое время не двигался; Николай Иванович зябко передёрнул плечами, смахнул мизинцем слезу из-под очков; Лидия Константиновна, по обыкновению, не отреагировала никак, словно воды выпила.

– Хорошо, – пробормотал Пётр Игнатьевич, выходя из оцепенения и тыча вилкою в рыжики.

– Чай, не разучились ещё, – ответил Антон Петрович, закусывая капустой. – Рука тверда. И меч булатный сдержит...

– Лидия Константиновна, а где же Клюгин? – спросил Николай Иванович.

– Сама не пойму. Я пригласила его, послала Акима сказать. Может, болен?

– Эскулап, и болен? Быть не может! – отрезал Антон Петрович. – Да ещё такой Агасфер, как Андрей... Этот никогда ничем не болел. Он, судари мои, болезням неподвластен.

– Это почему так? – спросила Варвара Митрофановна, громко орудуя ножом и вилкой в попытке разрезать солёный огурец.

– А потому что он давно уже почил в бозе и смерть его не берёт!

– Господи, что ж вы такое, Антон Петрович, говорите!

– Антоша! Как тебе не стыдно.

– В Страстную-то, Антон Петрович, ай-ай-ай... – закачал головою быстро, как кролик, жующий отец Агафон.

– Да я не к тому, чтобы унижить или что там, упаси Бог! – воскликнул Антон Петрович, потряхнув прядями. – Я же просто толкую вам о мёртвом теле и живой душе! Андрей давно уж телом мёртв, а дух живёт в нём, и ого-го какой дух! Поэтому-то и болезни его минуют, как апостола Петра.

– Ну, Антон Петрович... – словно от зубной боли сморщился Красновский, – как можете вы сравнивать Клюгина со святым апостолом? Это же чистая нелепость.

– Его лучше с юродивым сравнить, Антоша. Их ведь тоже болезни не брали, – улыбаясь, вставила Лидия Константиновна.

– Андрей Викторович – человек с чудиною, – заметил отец Агафон. – В храм Божий не зайдёт, лба не перекрестит. Много глупостей мужикам наговорил. Станный, странный человек.

– Да ну полноте вам, – с мягкой укоризной проговорил Рукавитинов. – Андрей Викторович – прекрасный врач, скольким людям жизнь спас, скольких мужиков да баб вылечил. А что в церковь не ходит, так что ж с того? В Европе многие умы в соборы до кирхи не ходили, а вышли великие учёные.

Отец Агафон непримиримо качал головой:

– Нет, Николай Иванович, никак нельзя без церкви, без храма. Церковь – невеста Христова, святыми апостолами нам завещана. Чрез церковную общину человек спасение обретает, веру, покой душевный. Что люди в миру? Грубители, прелюбодеи, мшелоимцы. А в церкви все яко агнцы пред Господом-то нашим. А одному да в миру противу зла трудно устоять.

– А подвижники? Сергей Радонежский, Кирилл Белозёрский? Одни жили, одни и молились.

– Батюшка вы мой, Николай Иванович. Так это ж подвижники, святые люди, угодники Божьи! А вы мне про мирян толкуете!

– А что миряне... Подвижники тоже сначала мирянами были...

– Да и какими греховодниками! – живо вмешался в разговор Антон Петрович. – Я читал в одной апокрифической книге об этих вот... отцах-пустынниках, что один из них, не помню

кто, кажется – Марк Антиохийский, был жутким бабником! Не было в Антиохии ни одной бабёнки, которую бы он не соблазнил к блюду. А ещё, говорят, содержал он у себя двух пони, опять же, не для езды там и гужевых надобностей, а прямо скажем, для...

– Антон! – вскрикнула Лидия Константиновна, стукнув своей узкой ладонью по столу, отчего приготовленные к чаю, стоящие с краю чашки задребезжали. – Прекрати сейчас же! Ей-богу, ты же не младенец!

– Молчу, молчу, – сложил огромные руки Антон Петрович наподобие индуистского приветствия.

– Неужели больше не о чем говорить накануне Светлого Воскресения? Николай Иванович, голубчик, право, мне так плохо, когда начинаются эти *querelles absurdes*!

– Прошу прощения, Лидия Константиновна, – поспешил извиниться Рукавитинов. Отец Агафон вздохнул, склонил голову к тарелке и, время от времени повторяя: “Без церкви нельзя, нельзя без храма”, занялся квашеной капустой.

– Однако странно у нас с вами получается, – заговорил Пётр Игнатьевич. – Приехал наш дорогой Роман Алексеевич, из столицы, а мы на него нуль внимания и вот обсуждаем Ключина. Как это, право... – он нахмурился, подыскивая нужные слова, – ...не по-русски.

– Святая правда! – подхватила Варвара Митрофановна, кротко и даже несколько испуганно молчавшая во время спора. – Ромушка, соколик наш, расскажи, как живёшь, как твои науки?

– Да, да, Рома, я утром запомнил спросить, кто за Прянишникову Ленского поёт? – оживился Антон Петрович.

– А что, Ромушка, отец Валентин, дай Бог ему здоровья, по-прежнему в вашем приходе? – повернулся к Роману, шурша своей шёлковой рясой, отец Агафон.

– Рома, я про Эльвиру Авксентьевну и не спросила до сих пор, как её здоровье, как Ванечка? – поспешила произнести Лидия Константиновна.

Роман положил вилку и нож, отёр губы салфеткой и принялся рассказывать всем обо всём, стараясь ничего по возможности не упустить. Он поведал о своём решении стать живописцем, обрисовал положение и жизнь столичных родственников, а свадьбу Ванечки пересказал так живо, с такими подробностями (впервые прослезившийся “железный” министр Сергей Борисович, пьяный шурин, кусок кулебяки, упавший Машеньке на колени и пролежавший там почти весь вечер), что вызвал бурное оживление у всех, особенно у Антона Петровича. О племяннице Лидии Константиновны – Эльвире Авксентьевне – он дал исчерпывающий во всех отношениях ответ; благопристойного отца Валентина назвал “истинно святым человеком”, к величайшей радости батюшки Агафона, прослезившегося по этому поводу и долго не перестававшего повторять: “Святая правда! Святая правда!” Но конечно же, более всех порадовал Роман Антона Петровича рассказом о новой постановке “Свадьбы Кречинского”. В характере Романа была одна черта, ставившая его в ряд людей необычных и даже странных. Ещё в детстве он заметил, что ему доставляет большое удовольствие освещать интересующие кого-либо события так, чтобы сильнее всего поразить слушателя, добиться в нём желаемого душевного трепета, отчего и самому затрепетать. Это вовсе не значило, что Роман был лжецом и фантазером, напротив, он пересказывал всё точно до мелочей, но делал это так, как никто другой. Он словно зажигал в себе какой-то невидимый волшебный фонарь, наводил его на описываемое событие, и всё вдруг начинало сверкать в этих лучах необычными красками, воспламеняя и будоража и слушателей, и Романа, так что неизвестно, кто больше из них радовался.

Так и теперь, повествуя дядюшке о премьерере, он вдруг опять почувствовал в груди этот “волшебный фонарь”, это воодушевлённое желание воспламенить собеседника и заговорил в свойственной ему манере – страстно и увлечённо.

Безусловно, Роман знал, что “Свадьба Кречинского” – одна из любимых пьес Антона Петровича, а роль самого Кречинского – щёголя, сердцеда и мошенника – одна из любимых

ролей, которой дядя отдал более двадцати лет театральной жизни. Как он играл его! Роману никогда не забыть этой осанки, этих уверенных, точных и в то же время изысканно-небрежных движений больших дядиных рук, этого голоса жуира и бонвивана, в циничной музыке которого нет-нет да и прослышатся обертоны грусти, раскаяния и вселенской тоски... Роман рассказал о новом Кречинском, о новом Расплюеве, о новых декорациях, о публике, о критике и наконец поделился своим мнением о постановке. Всё это необычайно взволновало дядю. Уже где-то на середине Антон Петрович встал из-за стола и, скрестив руки на груди на манер шиллеровского Моора, стал мерно прохаживаться от рояля к бюсту Вольтера и обратно, глаза его загорелись, массивное лицо всё как-то подобралось, он весь словно напружинился и, казалось, сам готовится через мгновение выйти на сцену.

Роману тут же передалось его состояние, кровь прилила к щекам, глаза блестели. Все молча слушали его, а когда он кончил, тишина повисла в гостиной, лишь поскрипывали половицы под дядиными ногами.

– Да... – проговорил наконец Антон Петрович, – молодцы.

И, помолчав, серьёзно добавил:

– Спасибо тебе, Рома. Надо будет съездить посмотреть. Молодцы, черти!

После этой фразы все сразу ожили, заговорили и задвигались.

– Ах, как чудно. Я так давно не была в театре!

– Я тоже видал нового “Кречинского”, правда, не премьеру.

– Театр – дело богоугодное, а как же. Только поменьше бы разных водевилей, где барышни ноги задирают...

– А я, Антон Петрович, помню вашего Кречинского! Тогда мы на Рождество гостили у Кораблёвых и пошли в театр. И что вы думаете, как они нас приглашали – на “Свадьбу Кречинского”? Ничего подобного! Пойдёмте, говорят, сегодня Воспенников играет!

– А как ты, Антоша, помнишь, Расплюева вытолкнул слишком сильно, а он, бедняга, в декорацию вломился! Господи, то-то хохоту было!

– Антон Петрович, я вас тоже помню. Я в ту пору совсем был мальчиком. А ту фразу: “Эге! Вот какая шуточка! Ведь это...”

– “Ведь это целый миллион в руку лезет! – громово подхватил Антон Петрович, мгновенно преображаясь в Кречинского. – Миллион! Эка сила! Форсировать или не форсировать – вот вопрос! Пучина, неизведомая пучина. Банк! Теория вероятностей – и только. Ну а какие здесь вероятности? Против меня: папаша – раз. Хоть и тупенёк, да до фундаменту охотник. Нелькин – два. Ну, этот, что говорится, ни швец, ни жнец, ни в дуду игрец. Теперь за меня: вот этот вечерной колокол – раз! Лидочка – два! И... да! Мой бычок – три! О, бычок – штука важная, он произвёл отличное моральное действие. Как два к трём. Да! Надо полагать – женюсь. Женюсь!”

Резким движением он скрестил руки на груди и замер, обведя присутствующих самодовольными и наглыми глазами.

Все зааплодировали:

– Bravo!

– Bravo! Антон Петрович, bravo!

– Bis! Превосходно!

– Чудно, право, чудно!

Антон Петрович медленно, с достоинством поклонился, его седые пряди красиво свесились вниз.

В это время в двери показалась кухарка Воспенниковых Арина с большим фарфоровым блюдом в руках.

После одобрительного кивка Лидии Константиновны она внесла его и поставила на стол.

– А-а-а! – оживился Антон Петрович, садясь на своё место. – А вот и наше овощное рагу а la Крутой Яр! Прошу.

Наклонившись над столом, он снял крышку с блюда, и чудный аромат тушёных овощей наполнил гостиную.

– Ну, Лидия Константиновна, вы просто змей-искуситель! – воскликнул отец Агафон.

– Батюшка, не беспокойтесь, всё на постном масле...

– Ой ли? Ой ли? – тряс головой батюшка, принюхиваясь. – Вон эдак шибает-то!

Арина тем временем, переменив приборы, вышла.

Выпили ещё и принялись за рагу, на этот раз уже молча. Роман ел с удовольствием, его собственный рассказ и импровизация Антона Петровича сильно подействовали на него, и он был сейчас, что называется, в духе.

Ему хотелось каких-нибудь событий, и воображение его интенсивно работало. Он думал о Зое, о том, как они встретятся, что она ему скажет и что он скажет ей, как они будут вместе гулять по лесу или кататься на лодке по реке до озера.

Но эти мечты о девушке, в которую он был влюблён три года назад, сопровождала постоянная внутренняя тревога, словно горький привкус отравлял прекрасный напиток. Если бы Роман не понимал причину этой тревоги, он счёл бы её следствием возбуждения и обострения чувств, сопутствующих ему всегда в первые дни приезда в Крутой Яр. Однако он знал истинную причину, или, вернее, чувствовал её сердцем, боясь до конца признаться самому себе. Он чувствовал Зою как личность, как девушку, и чем больше чувствовал, тем больше узнавал в её характере свой порывистый, как весенний ветер, характер человека свободы. И это пугало его.

И сейчас, сидя за столом среди этих милых простодушных людей, он вдруг неожиданно понял, что его чувство к Зое нельзя назвать любовью в том смысле слова, в котором он понимал его. Он был влюблён в неё, влюблён сильно, но – любовь... Это что-то совсем другое. Что-то высшее, основанное не только на обожании и восхищении, но и на доверии. На вере. В Зою он до конца поверить не мог, как ни старался. Может быть, именно потому они и расстались так мучительно, с таким душевным надрывом...

Подали чай.

Роман полностью ушёл в свои мысли и плохо замечал, что происходит вокруг. Ему стало неуютно, словно он оказался в чужой малознакомой компании; все говорили, смеялись, а он всё думал и думал про Зою, образ которой с такой яркостью стоял в воображении, что заслонял всё вокруг.

Роману захотелось уйти. Он встал и, сославшись на головную боль, вышел в сад, набросив пальто на плечи.

В саду было темно и прохладно. Стояла тихая весенняя ночь с низким тёмно-фиолетовым небом, кое-где тронутым едва различимыми искорками звёзд. Ветра не было, но откуда-то снизу от земли проистекал прохладный бодрящий воздух, он забирался под пальто и холодил. Роман пошёл меж деревьев, чувствуя, что лёгкие заморозки коснулись земли и она уже не такая мягкая под ногами, как днём.

Сад был запущен, это было видно даже теперь, ночью. Яблони разрослись, въехав ветвями друг в дружку, на месте вишен вообще стояли какие-то немыслимые заросли, малинник захватил всё пространство у забора.

Роман прошёл в глубь сада и присел на небольшую скамейку, стоящую меж двух старых яблонь.

Сюда летом выносили круглый стол и пили чай.

Роман потрогал сиденье скамейки. Оно было сухим и холодным.

“Неужели я увижу её?” – подумал он, и сердце, успокоенное холодом апрельской ночи, забило в его груди с новой силой.

VI

Чистый четверг и пятница, полные предпасхальных хлопот, пролетели незаметно. К тому же Роман получил свои художественные принадлежности и большую часть времени посвятил оборудованию летней мастерской, под которую пошёл мезонин – не очень большое, но чрезвычайно светлое помещение, пол и потолок которого были сработаны из струганых еловых досок, что очень нравилось Роману.

Он перенёс сюда пару стульев, тумбочку для красок, ломберный столик, кучу склянок и горшков и лишь потом, усевшись на стуле, принялся распаковывать краски. Они сразу поразили его своим присутствием в этом доме – казалось немислимым, что охра, жжёная кость, берлинская лазурь и тиоиндиго существуют здесь, в Крутояровской обители Воспенниковых. Радуюсь словно ребёнок, Роман выдавливал их из тюбиков на клочок бумаги, смотрел, любуясь цветами, казавшимися почему-то ещё более притягательными и необыкновенными.

Забыв про тумбочку, он стал раскладывать их на узком подоконнике, тянущемся по двум застеклённым стенам, раскладывать в порядке дисперсного разложения света – от красного кадмия и охры до ультрамарина. Белила и жжёную кость Роман убрал в тумбочку – он редко пользовался ими.

Покончив с красками, он распаковал картонный тубус с кистями; кисти лежали в нём, как стрелы в колчане, каждая была обёрнута в пергамент.

Роман не забыл переправить из столичной мастерской китайскую синюю вазочку, в которой обычно хранились кисти.

Распаковав вазочку, он поставил её на ломберный стол и, освобождая каждую кисть от пергаментного плена, водружал на прежнее место. Кисти были разные, и каждую из них он знал, помнил, мог отличить от другой: плоские, круглые, колонковые и беличьи – они все, как и краски, были неповторимы.

Роман наполнил ими вазочку и улыбнулся, любуясь этим ошетилившимся букетом, вид которого всегда будил чувства Романа, заставлял забывать про усталость и разрушал равнодушные.

После кистей он занялся сборкой мольберта – не очень большого, но крепкого, удобного и простого в конструкции. Собрав мольберт, Роман поставил его в самом центре комнаты, по привычке задрапировав холстом.

Потом настала очередь подрамников, потом пришлось зачистить и поточить мастихины, проолифить палитры, развести грунт и прогрунтовать дюжину картонок для эскизов и многое, многое другое. Роману хватило работы на два дня, он стучал, тёр, мазал, скоблил, двигал, не выпуская папиросы изо рта, так что тётя, принёсшая ему в полдень на подносе стакан компота, назвала его “столяр” и, зажав носик – “как остро пахнут эти все художества!” – смеясь и качая головой, поспешила ретироваться. Зато Антон Петрович отозвался о трудах Романа с одобрением, посетив новую мастерскую и досконально осмотрев реквизит молодого живописца.

– Славно, славно... – повторял он, прохаживаясь возле окон и трогая краски. – И хорошо, что наверху. Здесь, брат, тебя мирская суета не так будет тревожить. Будешь зрить красоту нашей землицы во всей полноте.

И, уходя, добавил со значительностью:

– Успехов тебе, Рафаэль Крутояровский!

Роман поблагодарил витиеватой сентенцией из Кальдерона, чем вызвал громоподобный хохот удаляющегося Антона Петровича...

А между тем все кругом готовились к Пасхе.

Арина под неустанным руководством Лидии Константиновны испекла шесть больших куличей, замесила пасху, покрасила три дюжины яиц. Всё это в пятницу носили освящать в церковь, а в субботу разложили по веранде на большом столе, накрыв рушниками.

Роман проснулся поздно – тётушка и кухарка уже вернулись с заутрени и собирали на стол. Антон Петрович читал газеты, мурлыча что-то себе под нос.

Позавтракали одним чаем и разошлись по своим делам – тётушка с Ариной на кухню, Антон Петрович в спальню.

Роман же решил съездить в сосновый бор. Это было не так далеко – сине-зелёная полоска виднелась за большим полем, примыкающим к Крутому Яру с южной стороны.

Погода стояла тёплая – солнце грело мокрую землю, галдели грачи на деревьях, мальчишки бегали взапуски, шлёпая по лужам. Роман надел свою тёмно-коричневую замшевую куртку, сапоги, надел на голову чёрную широкополую дядюшкину “конную” шляпу с резинкой под подбородок и, взяв любимый стек с жёлтой ручкой из китового уса, отправился через сени на скотный двор, где со вчерашнего дня томился в стойле каурый жеребец, нанятый тётушкой у Архипа исключительно для верховых прогулок племянника.

Перепрыгивая через лужи, Роман прошёл мимо хлева, где уже который год вместо коров содержались свиньи, и открыл сильно перекошенную дверь конюшни. Она заскрипела так протяжно и громко, что свиньи вопросительно захрюкали, заворочались в навозе.

Роман меж тем прошёл в дверь и оказался в весьма просторном, но тёмном и запущенном помещении.

Здесь было четыре отгороженных стойла, три из которых пустовали, а в четвёртом стоял, прядая ушами, архиповский жеребец Орлик.

Роман приблизился к нему, ласково повторяя это весьма распространённое лошадиное имя, достал из кармана шерстяных галифе большой кусок сахара и на ладони протянул жеребцу.

Тот, отфыркиваясь и переминаясь с ноги на ногу, покосил на Романа чёрным как смоль глазом, протянул морду над старой, облизанной и обглоданной не одним поколением лошадей переборкой и, взяв мягкими, словно бархатными, губами сахар, захрустел им.

– Ну вот и познакомились, – гладил Роман его по красивой морде с белой звёздочкой на лбу. – Кататься поедем?

Жеребец грыз сахар, поглядывая на Романа. Уздечки и седла висели вдоль стены на крепких кованых гвоздях. Роман снял уздечку, сразу отыскал своё любимое седло, которое, кстати говоря, было единственно приемлемым для езды, ибо остальные давно пора было выбросить.

Надев узду на морду Орлика, Роман отпер переборку и повёл коня на двор, неся в левой руке седло. Стек он по привычке заткнул за голенище сапога.

Орлик шёл за Романом, подрагивая мышцами плеч и отфыркиваясь.

Роман вывел его с конного к палисаднику, оседлал, достал из кармана куртки лёгкие замшевые перчатки, натянул на руки, вынул стек и, продев левую ногу в стремя, ухватившись за луку седла, сел на Орлика.

Конь всхрапнул, дёрнулся и, скаля зубы, прынул вперёд, уши его торчали словно рожки.

– Спокойно! – натянул повод Роман и сжал ногами Орлика.

– Что, норовист Буцефал? – раздалось сверху, и Роман заметил Антона Петровича, стоящего на балкончике, расположенном над террасой.

– Ничего, справлюсь, – усмехнулся Роман, отклоняясь назад и хлопая коня ладонью по крупу.

Орлик заржал и взял лёгкой рысью.

– “Весна, весна его сердце тревожит!” – продекламировал Антон Петрович, простирая руку перед собой. – Счастливый путь!

– Счастливо оставаться, дядюшка! – крикнул удаляющийся Роман. Орлик взял наметом, они миновали толстые старые дубы, росшие неподалёку от дома Воспенниковых, и оказались на дороге, ведущей через поле к бору. Роман привстал на стременах и слегка ударил Орлика стеком по крупу.

Конь сразу пошел растяжистым ровным галопом, воздух засвистел под полями Романовой шляпы.

Роман обожал верховую езду.

Научившись ездить ещё мальчиком, он не упускал ни малейшей возможности скакать верхом навстречу крутояровским просторам, минуя поля, перелески, углубляясь в лес.

Езда на лошади будила в нём радость, будоражила душу и воображение. В юности он представлял себя то Ланселотом, то королём Артуром, то смелым и бесстрашным Тристаном, пробирающимся сквозь лес к замку своей возлюбленной.

Сейчас же Роман просто с удовольствием отдавался езде, радуясь прекрасной солнечной погоде, вешнему воздуху, простору полей, раскинувшихся во все стороны, молодому горячему коню и сознанию того, что сегодня ночью будет чудесный праздник, самый любимый и таинственный.

Орлик легко скакал, хрипло и шумно выдыхая, в нём чувствовалась порода и сытая лёгкая жизнь скакуна, шея которого никогда не знала хомута.

Миновали середину поля, а бор, казалось, оставался на том же самом месте; ни приближаясь, ни отступая, он лежал на горизонте зелёно-голубой лентой, словно пояс, сброшенный лесной богиней Дианой.

Справа, шагах в двухстах, по другой дороге тащилась чья-то телега, которую Роман не сразу заметил. Мужик, сидящий в ней, снял шапку, махнул ею Роману. Роману показалось, что это Сидор Горбатый, но он, не обращая внимания на мужика, скакал дальше, наслаждаясь простором и волей.

Дорога уже пошла под уклон, замелькали знакомые овраги, показался край поля с зарослями ивняка. Бор был близок. Роман смотрел на него глазами художника, замечая, как по мере приближения исчезает в сосновых кронах голубое, уступая место зелёному, как явственно проступают оранжеватые стволы и наливаются коричневым проёмы меж стволами.

Он ударил Орлика ещё раз, пролетел сквозь кустарник, проехал выжженную пожаром просеку и совсем возле бора натянул повод. Орлик остановился, всхрапывая и перебирая ногами. Опустив повод на луку седла, Роман любовался высокой частой стеной могучих сосен, вставших у него на пути молчаливой суровой ратью великанов.

Сосновый бор. Он всегда поражал Романа единством и монолитностью. Как сильно разнится он с простым смешанным лесом, высылающим навстречу путнику сначала кустарники с подростом, потом подлески и одиночные деревья, а потом уж наползающим стихийно, где дубом, где берёзами, где осинником вразброд, подобно пёстрому войску наших предков. Не таков сосновый бор. Нет перед ним ни подлесков, ни бурьяна. Он наступает широким фронтом, сразу обрушивая на путника всю свою вековую мощь и разя его в самое сердце.

Роман замер, поражённый величием и красотой.

Лёгкий ветерок шевелил вечнозелёные кроны, шуршал по стволам отслаивающейся корой. Он доносил до Романа запах хвои – такой терпкий и будоражащий.

За три года бор нисколько не изменился, как и положено всему великому, – сосны не стали выше и не поредели, всё осталось на своём месте.

“Какое чудо, – думал Роман, стараясь охватить единым взглядом живую стену. – Лес вечен, как сама жизнь. И, как жизнь, прекрасен. Но как странно отчуждён он от человека, как далёк он от него в своей самости! Он существует сам по себе и живёт своей особой жизнью, в которую мы можем вмешиваться со своими топорами, пилами и огнём, но с которой мы не можем слиться, соединиться, поиметь родство. Она так или иначе проходит мимо, не даётя в

наши грубые руки. Мы идём по лесу, а он стоит, не обращая на нас внимания. Мы любим его красотой, а он не видит нас. Мы кричим, а он молчит, возвращая нам наши голоса многократным эхом. Ему ничего не нужно от нас. Он свободен. Как это прекрасно...”

Роман тронул упругие бока Орлика пятками сапог, конь пошёл быстрым шагом, и они оказались среди сосен. Сразу стало прохладней, дорога наполнилась талой водой, и чем дальше въезжал Роман в лес, тем чаще мелькали внизу меж стволов белые пятна нерастаявшего снега. Солнце скользило по могучим стволам, играло в лужах. В вышине перекликались редкие птицы.

Роман стегнул Орлика стеком, и тот поскакал дальше по дороге, тянувшейся через бор ровную полосой. Сосны неохотно расступались, пропуская её.

Роман захотел побыстрее добраться до “креста” – пересечения двух дорог, места, которое он так любил.

“Как чудно, что можно наконец увидеть то, о чём помнилось все эти годы, – мелькало в его голове. – Как прекрасно, что всё это существует помимо меня...”

Орлик нёсся галопом, разбрызгивая воду. Мелькнула знакомая груда валунов. От неё было совсем недалеко до “креста”. Вдали по правую сторону дороги стал вырастать силуэт огромного камня, прозванного в семье Воспенниковых “слоном”. “Слон” лежал возле “креста”.

Вдруг из-за него выехали двое конных. Роман натянул повод, переводя Орлика на рысь и, всматриваясь, подъехал. Люди на лошадях смотрели на Романа. Одним из них был незнакомый молодой человек в жокейской фуражке, другим... другой была... Зоя.

“Не может быть!” – содрогнулся Роман, придерживая повод и переводя Орлика на шаг.

– Да это же Роман! – громко произнесла Зоя своим звонким неповторимым голосом, и Роман убедился, что это действительно она.

Он остановил Орлика.

В пяти шагах на каурой лошади сидела Зоя – молодая, ослепительно красивая, в чёрном бархатном платье с серыми каракулевыми обшлагами и стоячим каракулевым воротником. Голову её покрывала небольшая чёрная амазонка.

Её маленькие руки, затянутые в чёрные шёлковые перчатки, небрежно держали повод и стек – тот самый, из светлой кожи, с самшитовой рукоятью.

– Здравствуйте, Зоя Петровна, – проговорил Роман, глядя в её чёрные быстрые глаза.

– Здравствуйте, здравствуйте! – весело и звонко повторила она. – Я вас долго узнать не могла. Вижу, кто-то скачет, согпше un chevalier galant. Прямо страшно стало! Мы с Олегом Ильичом перепугались, за камень спрятались... Кстати, познакомьтесь, пожалуйста, Роман Алексеевич, это Олег Ильич Воеводин, наш большой друг.

– Очень рад, – проговорил Роман, переводя взгляд на спутника Зои и кивнув головой.

Молодой человек, учтиво улыбаясь, сделал то же самое. На вид ему было лет двадцать пять. Он был приятной наружности. Под жокейской фуражкой у него оказались курчавые белокурые волосы, лицо его с округлым подбородком, ямочками на белых щеках и маленьким круглым носом напомнило Роману тициановского Купидона.

Он только что заметил, что Воеводин облачён в коричневый полосатый жокейский костюм на английский манер. Руки в серых перчатках сжимали чёрный, длиннее обычного, стек.

– Как хорошо, что вы здесь, – проговорила Зоя, поворачивая свою лошадь на дорогу и приглашая мужчин следовать за собой. – А то мы с Олегом Ильичом уже успели умереть со скуки. Nous, pauvres russes, sommes nes dans le plus ennuyeux des pays.

– А вы... давно приехали? – Роман всеми силами старался побороть охватившее его волнение.

– Вчера вечером. Здесь по ночам ещё так холодно! Представьте себе, утром, когда Настасья топила печь, я сидела рядом и грела руки.

– Это нетрудно представить, – с улыбкой проговорил Воеводин, и они с Зоей засмеялись. Лошади шли шагом, Зоя ехала в центре, мужчины держались по бокам.

– Я рассказывала Олегу Ильичу про вас, – говорила Зоя, вполоборота глядя на Романа, – но никак не думала, что вас можно здесь встретить. Сейчас, весной.

– Mais pourquoi pas? – спросил он.

– Parce que cela contredit votre image de dachnik.

– Vous me voulez dire que pour vous j'ai ete toujours un dachnik? – Роман резко дёрнул повод влево.

– Pas toujours! – нервно рассмеялась она.

– Et quelles sont les circonstances qui vous ont obliges a venir ici a cette epoque de Гаппеэ?

– Ce serait trop difficile a vous expliquer. – Она снова нервно рассмеялась, поигрывая стеклом.

– Trop difficile? – переспросил Роман, уклоняясь от молодой сосновой ветки.

– Trop difficile! – звонко откликнулась она и вдруг неожиданно резко ударила стеклом по лошадиной шее.

Всхрипнув, лошадь рванулась вперёд, Зоя, грациозно изогнувшись в седле, махнула стеклом у себя над головой, срезав молоденькую веточку.

– Ай да Зоя Петровна! – выдохнул от неожиданности Воеводин, и Роман удивился поразительному несоответствию глухого басовитого голоса этого человека и его купидоноподобной внешности.

Они хлестнули своих лошадей и пустились за Зоей.

Рой мыслей и чувств, как всегда бывало во время быстрой езды, охватил Романа, но это был какой-то бурный, клочущий и поэтому нечленораздельный поток, в котором выделить что-либо было невозможно. Роман нёсся словно через пургу или сквозь раскалённые крутящиеся вихри, нёсся, видя впереди всё туже чёрную, влитую в седло фигуру.

Воеводин не отставал от него.

Краем глаза Роман заметил, что тот по-жокейски высоко привстал в стременах, вцепившись одной рукой в поводья, а другую – со стеклом – на отлёте вытянув назад.

Лошадиные копыта громко врезались в мокрую землю, отвечавшую не глухим, а открытым поверхностным звуком. Дорога стала петлять, и вскоре они догнали Зою, которая придерживала лошадь, опасаясь, по-видимому, многочисленных корней, выступающих из земли на этом участке дороги.

– Испугались? – весело воскликнула она, крепко натянув поводья и успокаивающе похлопывая по шее всхрапывающую лошадь.

– Вы просто настоящая амазонка, Зоя Петровна! – почти выкрикнул возбуждённый Воеводин. – Это было так неожиданно!

– Здесь легко разбиться, – пробормотал Роман, косясь на корни. – Очень неудобное место для галопирования.

– И это вы говорите? – рассмеялась она. – Ну, Роман Алексеевич, я вас не узнаю! Такой отчаянный наездник – и толкует, что можно разбиться.

– Я просто вам советовал... – пробормотал Роман, чувствуя, что начинает краснеть.

– Роман Алексеевич прав, Зоя Петровна, – промолвил Воеводин, подъезжая к ней ближе. – Здесь коварное место. Взгляните, какие корни. Они похожи на змей... – Он указал стеклом вниз.

– Милый Олег Ильич, – перебила его Зоя, – я не боюсь ни змей, ни чёрта, ни рара. Я так рада, что сегодня весна, что я снова в Крутом Яре! Поедемте лучше к моему любимому месту!

– Где же ваше любимое место? – спросил Воеводин, пропуская вперёд Зою, которая, развернув лошадь, направила её по узкой просеке.

– Пока это тайна. Впрочем, не для всех... – проговорила она, улыбнувшись и кольнув взглядом Романа.

Роман вздрогнул, сердце его тяжело забилося. Он понимал, о каком месте говорила Зоя, но не мог, не хотел верить, что они направляются именно туда.

Просека за эти годы стала ещё уже, трём всадникам пришлось выстроиться друг за другом. Роман оказался последним. Он ехал шагом, изредка придерживая всхрапывающего Орлика и поглядывая на едущего вперёд Воеводина. Своей клетчатой фигурой тот полностью заслонил Зою, которая что-то напевала вполголоса, похлёстывая стеком по кустам.

“Господи, неужели это не сон? – думал Роман. – Неужели это и впрямь Зоя? С этим странным человеком? И мы сейчас едем туда?”

И словно в подтверждение того, что это действительно не сон, ветка орешины больно стегнула его по колену.

– Роман Алексеевич, не отставайте! – прозвучал впереди голос Зои.

Роман почувствовал, что губы его совсем пересохли, а сердце готово выскочить из груди. Зоя разговаривала с ним так, будто он всего лишь знакомый по летней дачной жизни и, кроме нечастых встреч у кого-нибудь на именинах за чашкой чая, их ничего не связывает.

Он лихорадочно вспоминал их встречи, объяснения в любви и клятвы верности, тайные прогулки при луне и тайные объятия. Эти картины быстро наплывали одна на другую, будоража сознание Романа; поток мыслей пронёсился в его голове.

“Как всё это неожиданно, – думал он. – Она совсем другая. А может, она потому так ведёт себя, что рядом этот Воеводин? А если они помолвлены? Как это всё глупо... Я еду за ними... Так вот почему она целый год не отвечала на письма...”

Впереди мелькнул просвет, просека кончилась, кончился и лес.

Они выехали на широкое просторное место, именуемое Луговиной, и Зоя, снова ударив стеком свою лошадь, понеслась вперёд.

Роман с Воеводиным понесли следом. Издали могло показаться, что они преследуют молодую беглянку. Луговина упиралась в берег речки, вдоль которой и направила свою лошадь Зоя.

Этот берег был ровный, почти без растительности, и назывался Лысым. Зато на другом берегу росла прекрасная берёзовая роща – постоянное место встреч и прогулок Зои и Романа. И теперь, скача по Лысому берегу, Роман смотрел направо, туда, где мелькали высокие, пока ещё голые берёзы. Над ними летали грачи, устраивая в чёрных ветвях свои гнёзда.

Зоя опережала мужчин на добрых два корпуса, её грациозная фигурка, казалось, слилась с лошадьёю.

Воеводин скакал всё так же на жокейский манер, а Роман, по своему обыкновению, – прямо держась в седле. Теперь он уже окончательно понял, куда вела их Зоя, и старался справиться с нервной дрожью, постепенно овладевающей им. Лысый берег тянулся недолго: промелькнули появлявшиеся то тут, то там кусты, молоденькие ивы, а потом влажная, дышащая паром земля вдруг вздыбилась, поднялась, заставив всадников натянуть поводья.

Лошади покорно остановились.

Все трое оказались на высоком обрыве. Впереди распласталось Крутоярское озеро. Голубое небо отражалось в нём, солнце играло по краю воды, наползающей на белый песчаный берег. Некоторое время все молчали, лишь вздрагивали, брэнча сбруей, лошади.

– Какая красота! – покачал головой Воеводин.

– Это и есть моё любимое место, – проговорила Зоя, глядя вниз.

Роман молча смотрел туда же, до боли сжав рукоятку стека.

Зоя сказала правду. Этот обрыв действительно был её любимым местом. Каждый раз, выезжая с Романом на верховую прогулку, она не могла не оказаться у обрыва и, бросив поводья, подолгу смотрела на озеро. Обычно выражение её красивого лица было такое, словно она

готовится броситься вниз и, обернувшись диковинной птицей, лететь, лететь над водою, полем, лесом. В такие минуты она, казалось, забывала обо всём, и это тревожило Романа. В нём зрело смутное предчувствие чего-то резкого и безжалостного, что может обрушиться на него по воле этой девушки-птицы, так упоённо жаждущей свободы. Теперь же в её лице, помимо неутомимой жажды свободы, появилось выражение абсолютной уверенности в себе. Роман искоса смотрел на Зою и чувствовал какой-то демонический холод, проистекающий от чёрной, влитой в седло фигуры, от прекрасного, словно выточенного из слоновой кости лица.

– Да, лихое место, – проговорил Воеводин, поправляя свою жокейскую фуражку. – Зоя Петровна, у вас голова не кружится?

– Кружится. От желания прыгнуть, – ответила Зоя, не отрывая взгляда от раскинувшихся за озером полей. – Были б у моей Розы крылья, сейчас бы так и полетели с нею над землёй...

– Et vous nous laisseriez manger par les loups du coin, – пробормотал, усмехаясь, Воеводин.

– Я люблю летать, – проговорила Зоя чуть слышно. – Очень люблю.

Они постояли молча, и вдруг Роман неожиданно для себя произнёс:

– Завтра Пасха...

Зоя повернулась и, внимательно посмотрев на него, ничего не сказала.

Воеводин быстро кивнул и произнёс рассеянно:

– М-да-с... действительно...

Роман устыдился своей фразы, а потом устыдился и собственного стыда. “Как всё глупо, – мучительно подумал он, глядя, как Зоя разворачивает лошадь. – Совсем рехнулся. Веду себя как олух...”

Развернувшись, они поехали шагом.

– Роман Алексеевич, вы надолго здесь? – спросила Зоя.

– Боюсь, что надолго.

– Почему?

– Я больше не служу.

– Правда? И кто же вы теперь?

– Ну... наверно – свободный художник.

Она улыбнулась и повторила, растягивая слова:

– Свободный художник. Но всё-таки это лучше, чем ад-во-кат.

– Я тоже так думаю, – проговорил Роман и попытался улыбнуться.

– Вы служили адвокатом? – спросил, или, вернее, выкрикнул, Воеводин, ехавший справа от Зои.

– Да, – быстро ответила за него Зоя, – у Романа Алексеевича была очень хорошая репутация. Он столько спас от безжалостной российской Фемиды.

– Вы преувеличиваете, – усмехнулся Роман, – последнее время я был вовсе равнодушен к моим подзащитным.

– C'est difficile a croire, – молвила Зоя. – Для вас – всё что угодно, только не равнодушие. Вы не умеете быть равнодушным...

Впервые за всё это время её голос обрёл естественность и стал похожим на голос той Зои, которая была раньше. Но эти знакомые интонации не успокоили Романа, а, наоборот, укололи его сердце новой болью. Эта фраза о равнодушии невероятно просто и ярко напомнила Роману, что перед ним та самая Зоя, которую он целовал под сенью ночных лип и подсаживал в растворённое окно террасы.

И словно почувствовав это, Зоя снова резко ударила стеклом свою Розу, сорвалась с места. Воеводин заспешил следом, а Роман слегка поотстал, не слишком погоняя Орлика.

Так, друг за другом, они проскакали до самого бора.

Зоя выбрала другую дорогу – широкий большак, ровно и прямо пронизывающий бор, и понеслась чёрной молнией сквозь залитый солнцем лес. Лишь на середине поля, у развилки дорог, остановила тяжело дышащую Розу, похлопав по взмыленной шее:

– Ah, ma chere petite fille.

Разгорячённый ездой Воеводин подъехал к Зое и, сняв наотлёт свою фуражку, произнёс, почти декламируя:

– Зоя Петровна, вы беспорная чемпионка среди всех наездниц и наездников! Bravo!

– Я боялась, что вы потеряетесь в бору! – рассмеялась Зоя.

– Ни за что! – выкрикнул своим хоть басовитым, но всё ещё юношеским голосом Воеводин. – Как тут замечательно! Какие места! Вот бы где устраивать скачки!

– Вы тоже так думаете, Роман Алексеевич? – неожиданно спросила Зоя, взглянув на подъехавшего и стоявшего поодаль Романа.

– Не думаю, – сухо ответил Роман.

– Ах да, вы же боялись разбиться, – насмешливо, но с какой-то мягкостью в голосе проговорила она.

– Я боялся за вас, – всё так же сухо проговорил Роман и вздрогнул, поразившись неуместности своей фразы.

Зоя замолчала, перестав улыбаться.

Воеводин непонимающе смотрел на неё. Молча они стояли на развилке. Правая дорога вела в сторону дома Романа, левая – к Красновским.

Роман приподнял шляпу:

– Прошу простить. Мне уже пора.

– Очень рад был познакомиться, – кивнул Воеводин.

– До свидания, Роман Алексеевич, – тихо проговорила Зоя.

– До свидания, – ответил Роман и, развернув Орлика, хлестнул его стеком по крупу.

VII

“Боже мой, неужели это была Зоя?! – мысленно в который уже раз спрашивал себя Роман, расхаживая по своей комнате и нервно куря. – Холодная красотка с патологическим кокетством, упивающаяся собой, – Зоя? Зоя – не замечающая меня, Зоя – со смехом принимающая идиотские комплименты этого клетчатого паяца? Зоя – с артистической глумливостью перечёркивающая всё, что было между нами? Не верю, не верю!..”

Сжав себя пальцами за локти, он присел на кровать.

Его душа напоминала теперь большое и глубокое горное озеро, растревоженное и взбаламученное неожиданно налетевшим на него штормом. Ещё вчера гладкая, как стекло, поверхность с величественным спокойствием отражала простёршийся над ней голубой небосклон, а сегодня мутные пенные валы с грохотом обрушиваются на каменные берега, грозя разбить их и вырваться на свободу. Все чувства, помыслы и переживания, связанные с Зоей, что дремали в глубине этого озера под прозрачной толщей обыденного и повседневного, теперь ожили и с шумом поднялись на поверхность.

“Я одного не могу понять, – размышлял Роман, жадно втягивая в себя дым. – Если она действительно забыла меня, то почему так зло играет со мной? Эта демонстративная поездка на место наших тайных свиданий, эти колкости в мой адрес... Если она полюбила Воеводина или ещё кого-то, то отношение ко мне по всем законам женской психологии должно быть мягкое и доброе. Даже грязных соблазнительниц женщины впоследствии вспоминают, как правило, без злобы. Но – я! Я же любил её и люблю. Неужели она не видит этого? Или не хочет видеть? А может, она на меня в обиде? Но за что? Я столько раз посылал ей письма и ни разу за три года не получил ответа. Один Бог знает, что я пережил тогда. Я думал, что она больна, но потом выяснил через знакомых, что Зоя Красновская – жива, здорова и даже берёт уроки игры на фортепиано у Блюменфельда... А может, я обидел её раньше? Но чем?”

Он провёл рукой по своим мягким вьющимся волосам и рассеянно потёр висок. Сегодняшняя Зоя совершенно не укладывалась в рамки старых представлений и воспоминаний о ней. Сравнить этих двух абсолютно разных девушек было мучительно трудно, и чувствительное сознание Романа буквально разрывалось, силясь совместить прежнюю Зою и теперешнюю.

Неужели за три года человек способен так перемениться? Где её искренность и непосредственность? Где порывистость и доверчивость? Где, наконец, её честность – тот нелюбимый критический взгляд на людей, всегда выделявший её в кругу сверстниц? Неужели она не видит, кто рядом с ней? Иль она вправду влюблена в этого клетчатого жокея?”

– Я должен с ней говорить, – неожиданно произнёс он вслух.

Папироса успела потухнуть.

Роман бросил её в пепельницу, встал с кровати и подошёл к окну. Оно было раскрыто, длинные лучи вечернего солнца ползли по еле колышущимся занавескам. Озарённый этими красноватыми лучами сад казался зловещим. Что-то угрожающее было в переплетении тёмных ветвей, кое-где тронутых алой кровью заката. Да и земля, раскинувшаяся за садом пахаными и непахаными полями, тоже выглядела сумрачно и отчуждённо. Виднеющийся за полями лес багровел, слившись с алыми слоистыми облаками, в которых плавился оранжевый солнечный диск.

Оперевшись руками о подоконник, Роман долго вглядывался в необычный пейзаж, и чувство тревоги постепенно овладело им. Он всегда остро чувствовал связь с родной природой, а иногда и вовсе ощущал себя частью этих полей и лесов, переживая в душе все их перемены. Теперь же этот неестественно красный закат ещё больше встревожил и без того возбуждённую душу Романа.

Стоявшая кругом тишина усиливала впечатление. “Кровь... – подумал Роман и прошептал: – Кровь”. Он вдруг явственно представил себе худые руки Христа, пригвождённые к кресту, и содрогнулся от привычного, сотни раз испытанного переживания. Оно проснулось в нём в юношеском возрасте, когда история Иисуса Назарянина перестала быть простой книжной историей и вошла в юную душу Романа огненным стержнем веры. И, как часто бывает в юности, он уверовал сразу, уверовал бесповоротно и сильно, обретя на всю жизнь тот прочный некольшимый фундамент, позволяющий по-настоящему верующим людям жить без страха и упрёка. Именно так и жил Роман. Вера дала ему некое новое небо – огромное и бесконечное, на фоне которого проплывали облаками различной конфигурации все душевные порывы Романа: любовь и ненависть, радость и надежда, грусть и печаль, горе и, наконец, сомнения. Здесь было всё, но ничто из всего этого не могло уже затуманить ту беспредельную синеву, раскинувшуюся в душе Романа от края и до края...

Роман любил Христа как Бога, но как человека он переживал Его. Это было сложное невыразимое чувство, целиком охватывающее Романа и заставляющее его отождествляться с Иисусом, ощущая все движения Иисусовой души. Роман всё пропускал через свою душу – Нагорную проповедь, исцеление прокажённого, моление о Чаше. Во всех случаях душа его трепетала радостью, и он явственно понимал, что такое быть в Духе.

И только слова “распят же за ны при Понтийстем Пилате” давали волю боли и отчаянию. Роман понимал, что распятие – поистине самая страшная казнь для человека: подвешенный между небом и землёй, оторванный от людей и от Бога, он умирает, чувствуя страшное сиротство и физические страдания. Только смерть способна избавить его от мук. И всё существо Романа содрогалось, чувствуя, как широкие четырёхгранные гвозди намертво входят в его ладони...

Остаток вечера Роман провёл у себя в комнате, куря и прохаживаясь по скрипучему полу. Солнце зашло, миновали голубоватые весенние сумерки, из окна потянуло холодом, наступила пасхальная ночь.

Роман почувствовал, что озяб, сунул папиросу в переполненную окурками пепельницу и, подойдя к окну, стал закрывать его. В этот момент старый сорокапудовый колокол крутояровской колокольни протяжным басом возвестил на всю округу, что пора идти к заутрене. Вслед за этим внизу послышались женские голоса. Роман принялся собираться. Переменив рубашку, он облачился во всё тот же серый костюм с жилеткой, повязал сдержанного голубого тона галстук и спустился вниз.

Там в прихожей Лидия Константиновна и кухарка Аксиныя громко помогали Антону Петровичу влезть в синее осеннее пальто, а он, кряхтя и двигаясь своим грузным телом наподобие тюленя, бормотал ругательства в адрес далёкого портного, подложившего, по его мнению, слишком много ваты в подстёжку рукавов.

– Чтоб тебя собаки сожрали... чтоб тебе... ни дна ни крыши... – бормотал Антон Петрович.

– Антоша! Антоша! – укоризненно качала головой Лидия Константиновна. – Перестань, пожалуйста....

Наконец пальто было надето, и Аксиныя принялась старой платяной щёткой чистить спину Антону Петровичу, а он, повернувшись к Роману, нравоучительно поднял вверх свой толстый палец:

– Вот, сударь вы мой, что бывает, когда доверишься мошеннику!

– Полноте, Антоша. Ну какой он мошенник? – качнула головой тётушка, поправляя выбившееся кашне. Она была уже одета в своё лёгкое бежевое весеннее пальто, подчёркивавшее её прекрасно сохранившуюся фигуру.

– Мошенник, истинно мошенник... – не унимался Антон Петрович, застёгивая пуговицы и берясь за свою неизменную черешневую палку. Аксинья, открыв картонную коробку, достала шляпку с вуалью и подала Лидии Константиновне.

Роман надел пальто, шляпу и вскоре уже шёл рядом с четой Воспенниковых, вдыхая сырой ночной воздух, вслушиваясь в размеренные удары колокола. Дорога к церкви пролегла сквозь дубовую аллею, затем тянулась вдоль речки и по деревне. Можно было идти коротким путём— через школу и дом Рукавитинова, но такой путь показался Антону Петровичу не по-праздничному поспешным. Лидия Константиновна была солидарна с ним.

Шли молча. Только поотставшая Аксинья вздыхала, изредка бормоча: “Господи, Твоя воля”.

Когда шли по берегу, Роман залюбовался бледным месяцем, чисто и спокойно отражающимся в чёрной воде. Ему подумалось, что звон идёт от этого неяркого серпа, повисшего над сумрачной зеленью.

На деревне было оживлённо.

Мужики, бабы, ребятишки, по-праздничному одетые, все шли к церкви, галдя и переговариваясь. Завидя чету Воспенниковых и Романа, мужики, снимая картузы, кланялись, а бабы громко здоровались в темноте, склоняя свои аккуратные, повязанные новыми белыми платками головы. Возле церкви разговоры смолкали, все дружно крестились и тихо входили. Только совсем маленькие ребятишки бродили возле, смеясь и озорничая.

Прежде чем войти, Роман оглядел церковь.

Это было незатейливое каменное строение, сложенное почти полвека назад и стоявшее прочно, на радость крутояровцам. Вокруг храма не было ни ограды, ни кладбища, лишь два гранитных креста торчали из земли почти возле самых зарешёченных окон. Под ними покоились отец Владимир и отец Ювеналий – священники, ранее содержавшие Крутояровский приход. Отец Владимир умер молодым сорок два года тому назад и помнился только местным старожилам, отца Ювеналия Роман смутно помнил – этот тихий, любящий уединение человек умер, когда Роману было шесть лет.

Оба купола – и придела, и колокольни – были в весьма плачевном состоянии, что было заметно и в сумерки. Но стены храма, выступы и перекрытия светились белизною – в прошлом году его основательно побелили. Колокол, ухавший над самой головой, смолк, послышалось слабое кряхтенье старого звонаря Григория, спускающегося вниз по узкой винтовой лестнице.

– Всегда опаздываем, – пробормотала тётушка и первой вошла в раскрытую настежь дверь храма.

Роман вошёл следом и, вдохнув до боли родной запах ладана и горячего воска, улыбнулся радостной, почти детской улыбкой.

Церковь была полна народа. Сотни свеч озаряли её.

Справа, как обычно, стояло мужское население Крутого Яра: старики, мужики и молодые – все одетые по-праздничному, в новых пиджаках и кафтанах. Слева расположились бабы с детьми, старухи и молодые девки. Эта половина пестрела плисовыми поддёртками, плюшевыми фуфайками и разноцветьем юбок и платков.

Было празднично, светло, тепло, слышался тонкий голос дьяка, уже кончающего читать “Деяния святых апостолов”.

Купив свечку и пропустив вперед тётушку с дядей Антоном, Роман двинулся за ними по узкому, еле различимому проходу, и по мере того как они пробирались вперед, все поворачивались и смотрели на них. Впереди на аналое дьяк, облачённый в серебристый стихарь, читал “деяния”, вокруг него полукругом стояли первые ряды.

Дядюшка с тётёй встали справа, поближе к алтарю, Роман, по своему обыкновению, прошёл налево и встал у самой стены, между иконами святых Пантелеймона и Варвары.

Дьяк читал плохо, неразборчиво, глотая слова, но это несколько не опечалило Романа, он с радостным, праздничным чувством стоял, держа в окрещённых на животе руках шляпу, и скользил глазами по всему, что его окружало. Напротив, по ту сторону аналоя, рядом с Антоном Петровичем и Лидией Константиновной стояли Пётр Игнатьевич и Надежда Георгиевна Красновские. Ни Зои, ни Воеводина с ними не было. Зато большой группой теснились многочисленные родственники и знакомые о. Агафона и Варвары Михайловны, стоявшей в их окружении.

“Зои нет, – подумал Роман, и тоска опять наполнила его сердце. – Значит, она и в церковь уже не ходит... Да впрочем, не в этом дело. Ведь это личное, тайное... Но где же она? С этим Воеводиным? Как это глупо.

Он бессознательно, но искренне надеялся, что она непременно будет в церкви, и его праздничное настроение отчасти было и из-за этого. Он видел в этом последнюю надежду, ибо это была их церковь, в которую они почти всегда ходили вместе...

Дьяк читал, а Роман всё более и более погружался в свою печаль, равнодушным взглядом скользя по лицам. Все улыбались ему: и Пётр Игнатьевич, и Надежда Георгиевна, и какая-то дальняя родственница отца Агафона, но он уже не различал этих улыбок.

“Как всё зыбко и обманчиво в этом мире человеческих чувств, – думал он. – В нём не на что опереться, не в чем увериться так, чтобы потом не обмануться. Любые клятвы в любви и верности, любые обещания совместного счастья могут быть нарушены, преданы, забыты. Да и что такое любовь? Влечение сердца? Страсть? Желание совместной жизни? А может, просто сиюминутное удовлетворение своего эго, требующего сердца другого человека, как дитя требует игрушки? Требуется. А после, наигравшись вдоволь, ломает её и бросает... И это называется любовью. Но, с другой стороны, есть которые любят всю жизнь одного и не бросают. Но может, тогда это уже не любовь вовсе, а привычка или привязанность, что-то наподобие близости родственников? Зачем же называть это любовью? Как глупо читать в романах: «Они любили друг друга все эти сорок лет». Как это пошло...”

Роман рассеянно смотрел на дьяка, на его острую бородку, впалые щеки и сухие смуглые руки,двигающие линейку по строкам старой толстой Библии, на серебряные кресты его стихаря, на огни двух витых свечей, стоявших в высоких подсвечниках по углам аналоя.

“Но стоит ли винить её? Видно, так уж устроено сердце человека – оно хочет перемен. Трудно видеть одно и то же лицо перед собою и бесконечно слушать одни и те же уверения в любви. Рано или поздно это становится похоже на дьяка, монотонно читающего о благих деяниях апостолов. Он читает о чудесном, но кого тронет этот жалкий фальцет?”

Вышел отец Агафон в золотой ризе с дымящимся кадилом и с крестом в руке, хор на клиросе запел “Воскресение Твоё, Христе Спасе...”

Народ в церкви зашевелился, все принялись зажигать свечи, началась пасхальная заутреня. Всеобщее оживление вывело Романа из забытья, он вспомнил, где он, и, протянув руку, зажёл свою тонкую красную свечку от голубого огонька лампы, висящей перед иконой святой великомученицы Варвары.

В этот момент тонкая женская рука с такой же свечкой слева приблизилась к лампадке и замерла в ожидании.

Роман отвёл свою свечу с затеплившимся фитилём и, невольно повернув голову, глянул налево. Там стояла девушка лет восемнадцати в глухом тёмно-зелёном платье и такого же цвета шляпке, вуаль на которой была откинута наверх, открывая девичье лицо, светящееся той вдохновенной радостью праздника, которая посещает человека только в эти годы. Это лицо не было красивым, но было очень милым и доверчивым, с мягкими правильными чертами. Радость, написанная на лице девушки, как и красота её, тоже была не яркой, а тихой и глубокой, она вся словно светилась этой радостью, этим чистым и спокойным светом.

Затепливши свечку, девушка стала смотреть перед собой своими радостными зелёными глазами, её полуоткрытые губы, казалось, шептали слова молитв. Она была настолько зачарована происходящим, что, казалось, ничего не видела. Это ослепление юной души тотчас поразило Романа, живо напомнив его собственные восторги десятилетней давности, в зачарованном лице девушки он увидел себя. И устыдившись своей недавней печали, тоски, он впервые за всю заутреню улыбнулся.

А вокруг уже пели “Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...”, отец Агафон ходил по церкви с кадиллом и громко сообщал радостно расступающемуся народу чудесную весть:

– Христос воскрес!

И народ: мужики, бабы, Антон Петрович, супруги Красновские, девушка с зелёными глазами – все отвечали радостно:

– Воистину воскрес!

Это радостное, искреннее, почти детское согласие этих разных по уму и по положению людей захватило Романа с прежней, хорошо знакомой в юные годы силою, и вместе со всеми он радостно отвечал:

– Воистину воскрес!

С каждым новым ответом светлый дух праздника всё глубже и глубже входил в него, напрочь вытесняя всё дурное, ненужное, мешающее, так что к концу службы Роман был совсем уж другим. Все неприятные, нагоняющие тоску мысли покинули его, уступив место чистому и воодушевлённому состоянию...

Выйдя из храма, полной грудью вдохнул он прохладный ночной воздух.

– Христос воскрес, Роман Алексеич! – раздался рядом знакомый глуховатый голос.

Роман обернулся.

Перед ним стоял Парамоша Дуролом. В темноте его лицо казалось молодым и благообразным.

– Воистину воскрес, – ответил Роман и, приблизившись, трижды поцеловался с Парамоном.

Почувствовав, что Дуролом кладёт ему в руку прохладное крашеное яйцо, Роман безотчётным движением достал бумажник, вынул пять рублей, отдал Дуролому и пошёл прочь.

Расправя бумажку на грязной ладони, Дуролом поднес её к лицу, вздрогнул и, размашисто перекрестившись, стал истоиво кланяться вслед Роману, бормоча:

– Спаси Христос, Спаси Христос...

А Роман быстро шёл в темноте, не разбирая дороги, поглядывая на звёзды и улыбаясь ночному миру, только что встретившему Светлое Христово Воскресение.

VIII

Главным событием первого дня Пасхи, как и всегда, был праздничный обед у отца Агафона. Роман слегка опоздал и вошёл в просторную столовую, являющуюся в то же время и гостиной, когда человек тридцать уже сидели за огромным дубовым столом. Отец Агафон, только что отслуживший вторую обедню, сидел во главе стола в лиловой праздничной рясе, красиво оттеняющей его белые волосы и бороду. Заметив вошедшего Романа, он приподнялся и, умилительно качая головой, направился к Роману.

Роман подошел к о. Агафону и, проговорив: “Христос воскресе”, трижды поцеловался с ним, вдохнув запах ладана, одеколона и лимонной водки. Обняв Романа за локоть и не переставая умилительно повторять: “Воистину воскресе, голубчик, воистину воскресе”, о. Агафон повёл Романа к своему концу стола.

– Вот сюда, Ромушка, вот сюда, с нами рядышком, – зачастила сидящая также во главе стола Варвара Михайловна.

Роман поклонился обедающим и сел между попадьёй и Надеждой Георгиевной Красновской, с которой он уже успел похристосоваться раньше. За Надеждой Георгиевной сидели жующий и улыбающийся Роману Пётр Игнатьич, Зоя, выглядящая несколько усталой и отстранённой, Воеводин, делающий себе бутерброд с чёрной икрой, Рукавитинов и многочисленные родственники Огурцовых.

Напротив Романа, в ряду по правую руку от о. Агафона располагались Лидия Константиновна, Антон Петрович и... та самая девушка, привлёкшая в церкви внимание Романа. Она сидела рядом с седовласым мужчиной, по всей видимости – отцом, имевшим вид сумрачный и строгий. За ним начиналась череда родственников батюшки и попадьи, занимавших противоположный конец стола и оживлённо беседующих между собой. Роман не успел ещё опустить взгляд на стол, как массивная белая длань, могущая принадлежать только одному человеку, властно протянувшись, наполнила хрустальную рюмку, стоящую перед Романом, золотистой лимонной водкой.

– И не спорь, брат! – пробасил Антон Петрович, наливая о. Агафону и себе. – Наливочками пусть дамы балуются.

И действительно, почти у всех дам в рюмках светилась рубиновая вишнёвка. Отец Агафон приподнялся с рюмкою в руке, обвёл собравшихся взглядом ласковых, слезящихся от водки и умиления глаз:

– Дорогие братья и дети мои во Христе. Коли уж первый раз изволили мы пить в честь великого праздника, так позвольте теперь провозгласить здравицу за всех нас, ныне собравшихся, за скромных, но достойных сынов и дочерей, исповедующих веру, надежду и любовь!

– Bravo! – качнул головой Антон Петрович и первый стал с трудом приподнимать со стула своё грузное тело.

Все встали и, оживлённо выражая благодарность о. Агафону, стали чокаться и пить. Роман выпил залпом холодную, приятно отдающую лимоном водку, успев заметить, что Зоя пригубила вишнёвку, со всё тем же отрешённым выражением держа рюмку перед собой, в то время как соседи тянулись к ней чокаться, а Воеводин так просто непрерывно тёрся своей рюмкою о её.

Опустившись на стул, Роман поставил пустую рюмку и обвёл глазами стол, раскинувшийся перед ним во всём своём великолепии. Каких только закусок не было здесь! Красная сёмга и нежно-розовая осетрина, паюсная икра и копчёный окорок, заливной судак и фаршированная щука, солёные помидоры, рыжики, грузди, белые грибы, мочёные яблоки, квашенная с клюквою капуста – всё это теснилось на тарелках, блюдах, одно к другому, образуя при-

чудливый ландшафт, посреди которого то тут, то там высились разноцветными хрустальными башнями графины с водками, настойками, винами и наливками.

И, как всегда, с лёгкой руки Варвары Михайловны и её трёх неизменных кухарок вместо хлеба подавались пироги с капустой, луком, грибами, вязигой и картошкой.

Подцепив на вилку солёную шляпку белого гриба, Роман отправил её в рот и потянулся к сёмге, но сидящий напротив Антон Петрович нравоучительно поднял палец:

– Не тем интересуетесь, юноша. Всею своё время...

И этим же пальцем указал на небольшую посудину, где лежали в густом томатном соусе тушёные раковые шейки.

– Роман Алексеевич, вы что-то совсем ничего не едите, прямо как индус. Позвольте-ка! – проговорила Надежда Георгиевна и проворно положила в его тарелку кусок заливного судака.

– Ромушка, голубок, ну-ка наших грибов-то гладеньких, – запричитала справа Варвара Михайловна, накладывая ему грибов деревянной расписной ложкой.

– Окорочок, окорочок, Рома, – бормотал о. Агафон, снова наполняя рюмки. Роман улыбнулся. За ним опять все ухаживали, словно за мальчиком, как много лет назад. Его тарелка нагружалась незатейливыми, но любовно приготовленными, а поэтому и вкусными закусками; рюмка, казалось, сама собой наполнялась жёлтой жидкостью, нежные раковые шейки, пропитанные томатным соусом, таяли во рту.

Третий гост провозгласил Антон Петрович за хозяйку дома, назвав её, как и всегда, “славную Ксантиппой”, и, как всегда, слёзы покатались из добрых глаз Варвары Михайловны, когда десятки рюмок поднялись в её честь.

Четвёртую пили за дам, и, приподнявшись с места, как и положено джентльменам, Роман снова взглянул на Зою. Она, казалось, почувствовала его взгляд и, слегка повернувшись, посмотрела на него. Её лицо было не то чтобы грустным, а каким-то равнодушно-усталым, будто она выполняла скучную и ненужную работу или разуверилась в чём-то близком и некогда дорогом.

Воеводин непрестанно что-то тараторил ей на ухо, усиленно предлагая вино и закуски. От выпитой водки его округлое лицо покраснелось, а движения сделались суетливыми и смешными.

“Странно видеть их вместе, – думал Роман. – Зоя с её острым светлым умом, горячим сердцем, свободолюбивой душой – и этот пухлощёкий жокей”.

Выпивая и закусывая вместе со всеми, он думал о Зое, о Воеводине, о себе, о прошлом, но уже без надрыва, а как-то спокойно и рассудительно, словно разглядывая всю эту ситуацию со стороны, а не участвуя в ней. Что-то произошло за эти сутки в его душе; словно впущенный в неё яд потерял свою силу, перестал действовать. Он видел выразительный Зоин профиль, видел, как заискивающе наклоняется к ней Воеводин, и это уже не будоражило его, как день тому назад.

Теперь ему было просто жалко её, он понимал, он чувствовал всем своим существом, что она не любит Воеводину, и при этой мысли ему уже не больно было сознавать, что она не любит и его самого. А вокруг уже пили просто так – без тостов; застольный разговор висел над простыми огурцовскими яствами густым облаком, в нём было трудно разобраться, в него надо было просто нырять, как в омут:

– Отец Агафон, что же это дьячок ваш будто ногу подволакивает?

– А он, спаси его Христос, на Крещение напился, пошёл с бабами танцевать, да ногу подвихнул...

– Прянишников, батенька вы мой, пел с пятилетне-го возраста. Мне доподлинно известно от его покойной тетки, что, сидючи, pardon, в спальне на горшке, он выводил такие glissando, что нянька стояла и слушала, открыв рот...

– Тройную-то ушицу, матушка, сварить – всё одно что три акафиста прочесть: сперва ершей да окуней в марлице вываришь до крошева, потом в этой же водиче судака, пока не развалится, а потом уж и осетринку белую варишь с перчиком, да с петрушечкой, да с лучком невторопях...

– Ксения гостила у нас прошлым летом и, представьте себе, не то чтобы искупаться – к воде ни разу не подошла. Оказывается, она страшно боится пиявок...

– Да как же мне не знать Евдокию Тимофеевну, если её дядя, ныне протоиерей Тихон, меня собственноручно, можно сказать, крестил. Прохор Витальевич был крёстным отцом, а тётушка – приемницей.

Между тем три кухарки, исполняющие в этом хлебосольном доме заодно и роль прислуги, подали стерляжью уху с расстегаями. Это вызвало новые здравницы в честь хозяйки, все чокались с нею; Антон Петрович с серьёзным видом принялся доказывать, что именно стерляжью уху имел в виду Крылов, когда писал “Демьянову уху”. Пётр Игнатьевич принялся возражать ему, толкуя о двойном, а может, и тройном содержании ухи, которой Демьян потчевал своего друга...

Роман с аппетитом ел прекрасную, переливающуюся блёстками уху с тёплым расстегаем. От выпитой водки ему вдруг стало легко и хорошо на душе, он вновь почувствовал искреннюю любовь ко всем этим простым добрым людям, и эта любовь, граничащая с умилением, вытеснила не только тревожные, но даже ироничные помыслы. Он смотрел на Зою, на Воеводина и искренне желал им счастья; он любил Надежду Георгиевну, Антона Петровича и, улыбаясь, пил за их здоровье; он любил всех родственников и приживалов о. Агафона, он любил эту безымянную девушку с её седовласым немногословным отцом...

Подали жареного поросёнка, а к нему – свекольный, морковный и яблочный хрен, Красноярский заставил дьяка пропеть “Еже радуйся...”; Антон Петрович по обыкновению громко вспомнил что-то из оперы Рубинштейна “Нерон”, какие-то “пиршества пышные веселья”; отец Агафон целовал руку Надежде Георгиевне, слёзно моля смилостивиться над грешными селянами и остаться до Яблочного Спаса, дабы откусать новой прививочки, имеющей вкус “прямо на удивление исключительный”. Воеводин, принявший за чистую монету каверзный совет Зои “положить ей непременно поросёньего пяточка”, и в самом деле стал отрезать пяточок от поросёньего носа, что вызвало громкий хохот гостей и Зоино хлопанье в ладоши...

Вдруг посреди всеобщего веселья отец той самой, пока ещё безымянной, но уже памятной для Романа, девушки приподнялся со своего места с рюмкой водки и, дождавшись тишины, произнёс глуховатым низким голосом:

– За здоровье наших детей.

Роман удивился этой серьёзной фразе, казалось столь неуместной среди захмелевших, смеющихся людей, произнесённой с глубокомысленной, почти грустной интонацией. Да вроде и не очень уместно было в доме бездетного о. Агафона произносить такую здравицу. Тем более здесь и Антон Петрович с Лидией Константиновной тоже бездетная пара, да и Рукавитинов...

Веселье сразу поутихло, но все дружно подняли рюмки и бокалы. Роман поднял свою и, отпив анисовой, успел заметить, что тост седовласого молчуна заставил всех как-то подбаться и пить, что называется, по-серьёзному: Антон Петрович перестал смеяться и, многозначительно выдохнув, выпил, предварительно показав глазами, что пьёт за Романа, Лидия Константиновна тоже смотрела на Романа; смотрела и мгновенно прослезившаяся Варвара Михайловна, а отец Агафон так просто прошептал:

– За тебя, Ромушка...

Красновские чокнулись с Зоей, Рукавитинов поднял рюмку, пространно глядя поверх голов, по всей видимости в душе пия за науку; со стороны же родственников хозяев поплыл дружный малиновый перезвон, дающий понять, что потомством они не обижены.

Посреди всего этого виновник тоста вёл себя несколько странно: явно не торопясь пить, с неподвижным и глубокомысленным, словно мраморным, лицом, он стоял, некоторое время глядя в полураскрытое окно и не замечая никого...

Потом, словно опомнившись, повернулся к своей дочери, лицо которой после тоста стало удивительно мягким, печальным и покорно-прекрасным, коснулся своею рюмкою её бокала и медленно, стоя, выпил. С этого мгновения Роман не спускал глаз с необычной пары – и отец, и дочь заинтересовали его, тем более что в предобеденной суматохе их никто не познакомил. Теперь же Роман стеснялся справиться о незнакомцах и лишь наблюдал за ними.

Праздничный обед тем временем плавно катился под гору: полные краснощёкие кухарки подали трёхведёрный самовар, завалив стол сладкими пирогами, плюшками, ватрушками, печеньями, вареньем всевозможных сортов в разнокалиберных вазочках и розетках, лафитники и графинчики с ликерами, хересом и мадерой – всё сверкало, искрилось, светилося оттенками в лучах вечернего солнца наподобие сказочного хрустального городка.

Уже было много и выпито, и съедено, уже отец Агафон целовался с дьяконом, повторяя слёзно: “Будешь мя отпевати, отец благочивый”, а попадья уговаривала родню “навекы поселиться в их доме”, уже хлещущий из самоварного носика кипяток норовил угодить мимо чашек, а пироги и ватрушки с мягким проворством исчезали под столом; уже возникла в окне наподобие лешего ликующая физиономия хмельного Парамоши Дуролома, заставившего забросать его плюшками, уже, наконец, привставший Антон Петрович картинно выхватил из кармана карточную колоду, требовательно объявив, что “пора, наконец, и по бубендрасам!”. В пылу веселья незаметно исчезли Зоя с Воеводиным, Рукавитинов и те самые девушка с отцом.

Роман почувствовал, что ему тоже пора. Раскланявшись с хозяевами, он пробрался в прихожую, накинул пальто, взял шляпу и вышел. Время праздничного дня пролетело незаметно – солнце не так давно зашло, и сиреневые сумерки легли на Крутой Яр.

Распахнув пальто, Роман пошёл по дороге, с наслаждением подставляя лицо и грудь вечерней прохладе.

“За такими пирушками время летит так быстро, – думал он, неторопливо идя вдоль плетня, огораживающего большой сад и пасеку отца Агафона, – а главное – легко и просто забываешь, кто ты. Да. Веселье сближает людей и освобождает от тревог. А для русского человека оно кажется просто панацеей от многих бед. От одиночества, от замкнутости, от бедности, наконец. А всё-таки какие милые люди...”

За плетнём показались кусты ивняка, сквозь голые ветки которых засветилась белая речка. По узкой тропке Роман стал спускаться к ней. От речки ещё больше тянуло прохладой. Спустившись к самой воде, он остановился, с удовольствием разглядывая деревянные мостки, полузатопленный кустарник и избы на том берегу, тронутые еле заметным туманом. “Гляжу на снег прилежными глазами”, – вспомнил он Пушкина и с улыбкой произнёс:

– Гляжу на воду я прилежными глазами.

Вдруг сзади его тихо окликнули по имени. Роман обернулся.

Возле старой, согнувшейся до земли ивы стояла Зоя.

– Ты? – проговорил он удивлённо и подошёл ближе.

– Да, я, – с грустной или просто усталой усмешкой ответила она, положив руки в бежевых перчатках на ствол.

– Почему ты здесь? – спросил Роман, смотря в её смуглое красивое лицо.

– Хотела повидаться с тобой.

– Но... я же шёл домой.

– Я была уверена, что ты спустишься сюда.

– Вот как... Где же твой друг?

– Воеводин? Спит, – проговорила она. – Совсем, оказывается, не умеет пить.

– Ну... это не самый страшный грех, – произнёс Роман.

Некоторое время они стояли молча. Зоя смотрела на свои руки, бессмысленно перебирая ими по ивовой коре. Роман смотрел на неё, в душе удивляясь и радуясь своему спокойствию.

– Послушай... – с трудом произнесла она, – ты и вправду думаешь, что я такая скверная?

– Скверная? Отчего же ты – скверная?

– Как отчего?.. Оттого что я теперь не с тобой, а с этим человеком.

– Зоя, полноте. Ты свободная девушка, так что вольна в своих желаниях и в своём выборе...

– Ах, перестань, ради бога! – перебила она его в резкой, одной только ей свойственной манере.

Она подошла к нему ближе и взяла его за отвороты пальто:

– Роман... Роман, я так страдала эти годы, так много думала о тебе...

– И поэтому ни разу не написала.

– Да нет... нет же... – Она вздохнула, не находя слов. – Я... понимаешь, что-то произошло во мне. Я не могла тебе писать тогда, сразу. Слишком тяжело мы расстались. А после мне что-то мешало, постоянно что-то мешало, будто между нами возвели какую-то стену... Но я каждый день думала о тебе... А потом, потом...

Она смолкла.

В её глазах показались слёзы.

Роман взял её маленькие, стянутые перчатками руки в свои.

– Почему ты ни разу не приехал к нам?

– Я не мог, Зоя.

– Почему?

– Потому что я тоже чувствовал ту самую стену, о которой ты говорила.

– Правда?

– Правда.

Она снова замолчала.

Потом, высвободив руки, подошла к самой кромке реки, устремив вдоль взгляд чёрных, блестящих от слёз глаз:

– Как всё глупо.

Роман молчал.

Удивляющее спокойствие не покидало его.

Глядя на стоящую к нему в профиль Зою, он вдруг понял, что в глубине души равнодушен к ней. Это было настолько просто, что он улыбнулся.

Она, словно почувствовав его улыбку, повернула голову:

– Ты смеёшься? Надо мной?

– Над собой, – проговорил он, не переставая улыбаться.

Она подошла к нему.

– Рома. Скажи, ты меня... совсем уже не любишь?

Он помолчал и, прямо и спокойно глядя ей в глаза, произнёс:

– Ты сама всё знаешь. Зачем спрашивать.

С неё словно сняли невидимые оковы. Вздохнув, она лёгким движением рук поправила свою маленькую шляпку и, сломив ивовый пруттик, двинулась по тропинке, похлёстывая себя по левой ладони.

Роман пошёл следом.

Когда тропинка стала подниматься наверх, Зоя остановилась, повернулась к Роману. Они стояли возле старого замшелого колодца, похожего на заброшенный, давно покинутый птицами скворечник.

– Воеводин – мой жених, – проговорила Зоя со спокойным равнодушием. – Осенью я выхожу за него замуж, и мы едем в Англию.

Роман молчал.

– Я знаю, ты осуждаешь меня. Считаешь дурной, сумасбродной... Но, понимаешь, мне так скучно...

– Скучно? – переспросил Роман. – Тебе скучно? В это трудно поверить.

– Не то чтобы скучно, – пожала плечами Зоя, – а как-то всё опостылело, надоело. Родные, знакомые, ухажёры. Всё глупо, однообразно.

– И любовь – тоже скучно? – неожиданно для себя спросил Роман.

– Любовь... – еле слышно произнесла она. – Ты знаешь, мне кажется, я просто не представляю, что это такое. И никогда не узнаю... Но ты только не думай, тебя я любила как могла. Да... странно всё это – детство, юность, Крутой Яр, наши с тобой встречи под липами – всё это ушло куда-то в один миг, и вот здесь, – она коснулась груди, – только пустота и скука. Скука, скука...

Она смолкла, сцепив руки и подняв их ко рту.

Роман вглядывался в её отрешённое лицо и постепенно понимал, что ей – Зое Красновской, той самой неутомимой, бесстрашной, сгорающей от интереса к миру, – теперь действительно скучно. Он словно коснулся её души и почувствовал ледяной холод. Это открытие заставило его оцепенеть. Зоя молчала, стоя неподвижно. Молчал и Роман. Сумерки сгущались, туман повис над рекой. От старого колодца пахло речным песком и прелыми досками.

Зоя первая нарушила тишину:

– Да. Не получилось у нас разговора.

Роман спросил:

– Почему ты решила уехать?

– Мне всё здесь опротивело, надоело. Я, понимаешь ли, совсем недавно поняла, что я в душе – не русская. Не люблю я Россию.

– Не любишь?

– Не люблю. Какой-то серый мир. Пьяный, тёмный. И скучный. Мне так здесь скучно, Рома...

Она вздохнула и, вдруг быстро подойдя к нему, крепко взяла за руку, заговорив горячо и сбивчиво:

– Послушай, послушай... давай уедем, давай уедем вместе. Ты думаешь, я люблю этого Воеводина? Да я к нему безразлична, понимаешь, безразлична! Если я и любила кого, так только тебя, Рома. А с ним... я решила, потому что все меня бросили, и ты бросил, не приехал, а он, он меня увозит отсюда, увозит, поэтому и согласие дала, только поэтому...

Глаза её блестели в темноте.

Сжав руку Романа ещё сильнее, она приблизилась к нему.

– Рома, прошу тебя, давай всё забудем, возьми меня, уедем куда-нибудь, в Париж, в Англию, в Германию – куда угодно, только увези меня! Я всё брошу, родных, Воеводина, всё, только увези меня из этой грязи, серости, глупости, увези... понимаешь, я...

Она замолчала и выдохнула:

– Я жить хочу. А тут я как мёртвая.

Роман молчал. Сердце его тяжело билось.

С трудом разжав губы, он проговорил:

– Я люблю Россию.

Минуту она смотрела ему в глаза, потом, отпустив его руку, шагнула в сторону. Её лицо в темноте казалось гипсовым слепком.

– Прощай, – шепнули её губы.

Повернувшись, она пошла вдоль берега и вскоре скрылась в темноте, среди ивовых кустов. Роман долго стоял, вслушиваясь в звуки её удаляющихся шагов, словно наблюдая за угасающим пламенем сгоревшей до конца свечи.

Огонь их любви, три года назад горевший ярко и сильно, потух навсегда.

IX

Простившись с Зоей, Роман выкурил папиросу на берегу всё той же безымянной крутояровской речки, бросил окурочек в воду и направился домой не слишком прямой дорогой.

Душе его было в эту ночь как-то легко и непривычно спокойно.

В темноте мимо спящих изб, в которых спали нагулявшиеся хмельные крутояровцы, он шёл со спокойствием местного призрака, дыша тьмой и тишиною. Невидимая неровная земля колебалась под ногами, звёзды и тонкий месяц горели на безоблачном чёрно-синем небе. Дойдя до крайней избы, он свернул и двинулся через молодой березняк. Не успел он пройти двадцати шагов, как прямо впереди залаяла собака, а знакомый голос не слишком энергично осадил её: – Тубо, Динка.

Роман заметил тёмную фигуру и светлую собаку, переставшую лаять, но начавшую угрожающе рычать. И снова этот очень знакомый вяло-пренебрежительный, но и язвительно-резкий голос обратился к собаке:

– Тубо, дура. Это же шляпный человек.

Эта фраза заставила Романа сразу же признать в тёмной фигуре крутояровского фельдшера Андрея Викторовича Ключина.

Андрей Викторович, видно, тоже узнал Романа и приветствовал его первый:

– Если не ошибаюсь – Роман Алексеевич. Моё почтение.

– Здравствуй, Андрей Викторович! – с радостью проговорил Роман, подходя и пожимая узкую несильную руку Ключина. – Христос Воскресе!

– Здравствуй, здравствуй, – усмехнулся Ключин, не отвечая на последнюю фразу Романа. – Давно наслышан о вашем приезде, а встретиться довелось эвон где. Темно, хоть глаз коли...

– Да! – рассмеялся Роман. – Романтическая встреча. Вы уж простите меня, Андрей Викторович, что до сих пор не посетил вас.

– Пустое, – вяло махнул рукой Ключин, беря в зубы мундштук с горящей янтарным огоньком папиросой. Лицо его было трудно различимо в темноте, и Роману показалось, что он совсем не изменился за три года.

– Пошла вперёд! – Ключин толкнул ногой обнюхивающую колени Романа собаку, и та послушно побежала прочь.

– Второй год твержу дуре – нельзя лаять на шляпных людей, лай на шапочных, картузовых, фуражковых. Нет, не доходит...

– Что же вы не были у отца Агафона? – спросил Роман и тут же пожалел, что спросил не подумавши: Ключин переступал порог дома священника только в качестве фельдшера.

– Во-первых, любезный Роман Алексеевич, меня туда никто не звал. Да и даже если б позвали – не пошёл. Вы, верно, забыли, в каких я отношениях с этими убогими Гаргантюа.

– Признаться, вспомнил только теперь.

– Вот-вот. Дядюшка ваш – забавный человек, тётушка мила. Рукавитинов – толковый малый, но педант, Красновские – фанфароны, а эти... – он презрительно махнул рукой, – тюфяки с соломой.

– Ну, вы их строго судите. Они милые, простые люди...

– Вы только что от них?

– Да.

– А... – опять махнул рукой Ключин. – Ну да бог с ними. Пойдёмте-ка, коли мы уж встретились, ко мне да потолкуем. Выпьем моей фельдшерской настойки, а вы чего-нибудь расскажете.

– Что ж, пойдёмте, – согласился Роман.

Клюгин взял его под руку, и они пошли в темноте.

Березняк кончился, впереди разверзся дышащий холодом овраг с силуэтами лепившихся по краям ледников, но Клюгин с уверенностью слепого повел Романа вниз по невидимой тропке.

Динка бежала где-то рядом, шурша прошлогодней травой.

– Вот они, наши прорехи да расселины, – всё тем же вялым голосом говорил Клюгин, поддерживая оступающего Романа, – поселившиеся на овраге люди! Да ещё на каком овраге-то на крутом! И живём себе. Даже вот гости наведываются. Из столицы.

– Ну, к вам-то, положим, не только из столицы, а из каждой избы наведываются...

– Верно, верно, друг мой. Каждый смерд ползёт ко мне за эликсиром бессмертия. Дескать, дай мне, эскулап, хоть каплю, чтобы прожить ещё один день в грязи и вони...

– Вы, Андрей Викторович, совсем сегодня не по-праздничному настроены.

– А-а-а-а. Это их праздник.

– Господь с вами. Это праздник всех.

– Это их праздник. Но не мой, да и не ваш.

– Отчего вы так думаете?

– Оттого что мой праздник – это покой ума, а ваш – покой сердца. Вот что нас по-настоящему радует.

– Неправда. Меня радует и беспокойство сердца.

– Полноте. Что такое беспокойство? Ну-ка, вдумайтесь. Это же – без покоя. А без покоя – это мука, страдание. Так что не называйте чёрное белым. Ну-ка, дайте руку.

Они стали выбираться из оврага по крутому склону.

Клюгин шёл первым, вытягивая Романа за руку.

Наконец они оказались наверху.

Выплывший из-за туч месяц слабо освещал вездесущие кусты ивняка, тёмные избы, оставшиеся справа, и громоздкий чёрный силуэт дома, стоящего прямо на краю оврага.

Это был дом Клюгина.

Романа всегда удивляло это строение, готовящееся вот-вот свалиться вниз.

Теперь же, ночью, оно виделось угрюмым и неприветливым. Непонятно кем и когда построенное, оно являло собой полное отсутствие каких-либо стилевых архитектурных признаков, позволяющих отнести его либо к казенному помещению, либо к жилому дому, и по сути своей оставалось чем-то средним. Одну половину дома занимала лекарская, в другой жил непосредственно сам лекарь. Никогда под этими окнами не росли ни цветы, ни смородина. Клюгин не держал ни сада, ни огорода, ни тем более скотного двора, покупая все продукты у населения. Даже необходимой фельдшеру лошади и то не было у него, поэтому вытащить его в другую деревню было делом невероятной трудности.

Когда же по казенным надобностям он собирался в город, то обычно нанимал Акима в качестве возницы.

– Прошу, – равнодушно пробормотал Клюгин, кивнув головой в сторону своего дома, и они двинулись по еле приметной тропинке. Динка бежала впереди. Подойдя к небольшому крыльцу, Андрей Викторович достал из кармана ключ, поднялся по расшатанным ступенькам, отпер дверь и, пропустив вперёд собаку, прошёл сам.

Роман осторожно последовал за ним. В тесном, пахнущем тряпьем коридоре Клюгин зажгёт спичку и, не раздеваясь, затеплил большую керосиновую лампу, стоящую возле вешалки на табурете.

– Разоблачайтесь, – предложил он, и Роман, сняв пальто, кашне и шляпу, пристроил их на небольшой деревянной вешалке местного производства. Клюгин, также раздевшись, подхватил лампу и открыл дверь в гостиную, куда тут же проскользнула Динка.

– Пойдёмте, – пробормотал Клюгин, входя первым. – Проходите, садитесь.

Роман вошёл, оглядывая скупое освещённую гостиную, или, вернее, комнату хозяина, ибо, кроме кухни и “лекарской”, других комнат в этом доме не было.

– Так-с, – проговорил Ключин, водружая лампу на стол, – вот мы и дома. Динка, разбойница... Жрать хочешь? Сейчас, сейчас... Сначала мы, потом ты.

– Андрей Викторович, я только что от стола, так что прошу покорно не беспокоиться на мой счёт, – поспешил предупредить хозяина Роман, расположившись в старом кресле.

– Ну, есть я, положим, и сам не желаю, а вот настойкой моей вас угощу. Уж не отказывайтесь.

– Спасибо, не откажусь.

Ключин секунду-другую постоял, потирая над лампой свои длиннопалые руки, потом повернулся и прошёл в дверь, ведущую на кухню. Собака прошмыгнула за ним. Пользуясь случаем, Роман принялся подробно осматривать помещение.

Комната была немаленькой, хотя и казалась с первого взгляда тесной из-за двух огромных одинаковых старых комодов, стоящих вдоль стен друг против друга и занимающих почти половину всего пространства. Так же как и весь дом, эти громоздкие чудовища были на удивление безликими, хотя и хранили на своих дубовых боках следы добротной и грамотной работы.

Но более всего удивляла их одинаковость и те никому не ведомые обстоятельства, в результате которых эти близнецы оказались в доме Ключина и поселились здесь навечно, немо и угрюмо созерцая друг друга.

Остальная мебель была, напротив, малозаметной: круглый стол, невзрачные стулья, этажерка с книгами, бюро и два кресла с прохудившимися сиденьями. Под потолком висела ещё одна керосиновая лампа с картонным абажуром. В комнате было не очень чисто и пахло лекарствами. Ключин вернулся с медным подносом в руках, поставил на стол. На подносе посверкивал круглыми боками миниатюрный графинчик, похожий на колбу, и стояла тарелка с мочёными яблоками.

– Вот. – Ключин поставил тарелку перед гостем. – Я Нюрку мою отпустил к своим яйца катать. Поэтому хозяйничаю сам...

Подойдя к правому из комодов, он открыл дверцу и достал две рюмки.

– Не был у вас почти три года, – заметил Роман, усаживаясь поудобней, – а вроде в вашей обстановке ничего не переменялось.

– И слава богу. Терпеть не могу каких-либо перемен. У меня вот перед Рождеством Нюрка заболела, две недели у себя провалялась на печи, а я другую бабу нанял. Так вообразите, это просто кошмар, да и только, – всё, всё по-новому. И рожа новая, и ухватки, и привычки. И щи у ней по-другому пахнут. Нет, перемены, Роман Алексеевич, не в моём вкусе.

Расставив рюмки, Ключин сел напротив Романа, вытянул из графина притёртую стеклянную пробку и стал аккуратно разливать почти прозрачную жидкость.

Роман в это время рассматривал его.

Андрей Викторович Ключин был человеком необычной наружности. В свои сорок четыре года он имел худую сутулую фигуру, чуть выше среднего роста; худые руки его были длинные, костисты и придавали телу некое обезьяноподобие, особенно проявляющееся во время ходьбы. Но самым замечательным в облике Андрея Викторовича была его большая голова с лысиной и массивным белым лбом, нависающим над лицом. Голова была столь крупной, что почти не имела шеи, по всей видимости постепенно вдавив её в плечи. Казалось, что всё тело Ключина худощавое только потому, что ему приходится нести эту солидную, блестящую лысиной голову, в которой заключено главное богатство Андрея Викторовича – его мозг.

И сейчас, когда Ключин разливал по рюмкам настойку, его выпуклый бледный лоб сосредоточенно навис над столом, заслоняя лицо своего хозяина. Лицо же Андрея Викторовича, в противоположность голове, было малозаметным, бледным, с густыми чёрными бровями, подплывшими влажными глазами, широким, как бы утиным носом, маленьким подбородком и

большим ртом, имевшим всегда презрительно-плаксивое выражение. Клюгин и судьбу имел такую же странную, как и наружность. Двадцати пяти лет он, студент-медик Казанского университета, был арестован якобы за участие в антиправительственном заговоре и после суда провёл семь долгих лет в Сибири на соляных коях. Затем, поселившись где-то под Архангельском, лет десять фельдшерствовал в тамошних деревнях, даже, по его словам, женился, но, прожив с женой год и семь месяцев, схоронил её вместе с мертворождённой дочерью, взял расчёт и после долгих мытарств и переездов с места на место поселился в Крутом Яре.

Как правило, реальный статус деревенского врача гораздо выше его идеального статуса. В критических ситуациях лекарь ценится крестьянами гораздо дороже представителя власти, священника и тем более лесничего. Как люди непосредственно реальной жизни, крестьяне чрезвычайно внимательны к местному врачу, имеющему власть над их болезнями, а значит, и телами, а следовательно, как это ни парадоксально, – и душами.

Они почтительны к священнику, послушны властям, но по отношению к “дохтуру” они внимательны в полном смысле этого слова, и это внимание по своему покорству и искренности зачастую гораздо сильнее уважения и послушания. К Клюгину же крутояровцы были внимательны вдвойне: во-первых, потому что он был толковым врачом; во-вторых, потому что он держался со всеми независимо, и, в-третьих, потому что он был приезжим человеком со странным поведением, странным образом жизни и странную судьбою.

Наполнив рюмки, Андрей Викторович опустил на сиденье небольшого стула напротив Романа и сделал жест рукой, предлагая выпить:

– Прошу. Оцените мои химические изыскания.

Роман поднял рюмку и, кратко пожелав хозяину здравствовать, выпил одним глотком прозрачную жидкость.

Сначала ему показалось, что он выпил лёгкое вино, но прошло мгновение после глотка, и он понял, что в графине – простая вода.

– Хе, хе, хе! – рассмеялся Клюгин своим негромким, словно стариковским смешком. – Ну что, оценили? Чистый продукт! Хе, хе хе.

Его рюмка тоже была пуста.

Роман от неожиданности растерялся, потом тоже рассмеялся:

– Ну... да вы просто хулиган...

– Хе, хе, хе!

– Ну, Андрей Викторович! Вот к чему приводит затворничество... Надеюсь, это не слабительное?

– Хе, хе, хе! Чистая аш два о.

Клюгин довольно потирал свои длиннопалые белые руки:

– Ладно, не сердитесь. Я смерть как люблю шутки шутить... А графинчик этот нам пригодится.

Он встал, подошёл к правому комоду, достал точно такой же круглый графин и две точно такие же рюмки.

– Теперь шутки в сторону. Я вам предлагаю питьё титанов. Честно говоря, последние десять лет из алкоголя признаю только это. Spiritus vini. Прошу.

– Спирт?

– Чистейший. Почти стопроцентный.

– Помилуйте...

– Ну, ну, будьте мужчиной. Как выпьете, сразу запейте вот этим...

Он наполнил две пустые рюмки водой из другого графинчика.

Роман поднял рюмку и, опасаясь нового подвоха, взглянул на Клюгина. Но тот ловкими движениями фокусника одним духом опрокинул в свой большой рот обе рюмки одну за другой.

Роману пришлось сделать то же самое.

Спирт обжѐг горло, но вода смягчила ожог.

Роман кашлянул. На его глазах выступили слѐзы.

– И впрямь питьѐ титанов...

– Закусывайте, Роман Алексеевич. – Клюгин подвинул тарелку с мочѐными яблоками.

– Мерсі...

Роман принялся за яблоко. Оно оказалось кислым и безвкусным.

Клюгин, между тем достав из кармана пожелтевший костяной мундштук, легонько посту-
чал им по графинам:

– Вот. Без этих двух сосудов обедать не сажусь. Мои альфа и омега.

– Пьѐте чистый спирт?

– Да. И не говорите только, что он хуже всяких поповских настоек! Эти разные доморо-
щенные наливочки да ликѐрцы, – он презрительно скривил рот, – эдакие подслащѐнные духи.
Терпеть не могу...

– Да, не праздничное у вас настроение, – усмехнулся Роман.

– Не в настроении дело. Нет ничего чище, проще и здоровее спирта. И не спорьте с
медиком. Лучше расскажите-ка, что нового в столице? Я слышал, недавно был процесс над
политическими?

– Да, был. Правда, я не знаю подробностей. Знаю только, что все осуждены, и надолго.

Клюгин пространно вздохнул, многозначительно кивнув своим массивным лбом:

– М-да-а... Плетью обуха не перешибѐшь. Ну да ничего. Сибирь – это горнило для насто-
ящих людей. Свинец, олово, всякая дрянь – всё в ней расплавится и сгорит, а сталь закалится.
И кто знает, кто знает...

Он снова вздохнул и, неожиданно усмехнувшись, спросил, глядя на Романа своими
карими мутноватыми глазами:

– А вы сочувствуете этим политическим?

Роман пожал плечами:

– Я... в общем сочувствую, хотя, честно говоря, давно уже равнодушен к политическим
и к государственным проблемам.

– И правильно, – махнул рукой Клюгин, – надоело всё. В наших российских топях, по-
моему, ещё лет сто настоящей демократией не запахнет. Как гнули мужички спину при царе
Горохе, так и гнуть им. Скука смертная эта наша Русь. Скука...

Он снова наполнил две рюмки спиртом и две – водой.

– Постойте-ка, – проговорил Роман, вспоминая, – от кого же я совсем недавно слышал то
же самое? Скучно, скучно в России... Господи, да от Зои Красновской... конечно.

– Зоя Петровна? Она здесь? – равнодушно поднял глаза от рюмок Клюгин.

– Да. Была здесь.

– Что, уехала?

– Уезжает. В Англию с мужем. Ей, как и вам, в России скучно.

– Ну, в Англии не веселей. Лорд с восковым лицом и жестах машины не веселее нашего
Дуролома. Тоже тоска порядочная.

– Тоска? А где же, позвольте спросить, не тоска?

Клюгин усмехнулся, поднимая свою рюмку и глядя сквозь неё на Романа:

– Да нигде.

И снова беззвучно и ловко опорожнил обе рюмки.

– А-ах. Славно, – качнул он головой, не притрагиваясь к яблокам. – Пейте, молодой
человек, это промывает перистальт и мозги лучшим образом...

Роман хотел было отказаться, но лёгкий хмель снова проснулся в нём, и он совершил
процедуру выпивания, на этот раз гораздо удачнее.

Тем временем Ключин, извлёкши откуда-то полдюжины папирос, положил их на стол, одну из них размял и вставил в мундштук. Роман достал свой портсигар и спички. Они закурили.

После недолгого молчания Ключин спросил:

– Так как же ваша столичная жизнь?

Роман усмехнулся:

– По всей вероятности, кончена. Начинается моя сельская жизнь. Так что теперь мы с вами *compagnons dans la misere*.

– Ну, ну, – улыбнулся Ключин, затягиваясь из мундштука, который он держал между большим и указательным пальцами. – И на какое же время эта ваша сельская жизнь? На неделю? На месяц?

– Навсегда, – твёрдо и серьёзно сказал Роман.

– Вы хотите жить здесь? – спросил Ключин без тени удивления.

– Да. Я взял расчёт. Теперь буду заниматься живописью и хозяйством. Земледелием, пчеловодством.

– И вы готовы к этому?

– Готов.

Ключин равнодушно пожал плечами:

– Ну а что... Коли не наскучит – живите. Всё равно где гнить – в городе или в деревне.

– Я с вами не согласен, Андрей Викторович. Гнил я в городе, в столице. А здесь, мне кажется, я буду жить. По-настоящему. Буду работать, читать, писать картины. С вами беседовать.

– Ну, ну, – кивнул лбом Ключин, затягиваясь папиросой с характерным для него шипением.

В его голосе не чувствовалось ни одобрения, ни осуждения.

Он курил, откинувшись на спинку стула, и глядел мимо Романа, словно рассматривая, хорошо ли скроено плечо его пиджака. За эти годы лицо Ключина стало более вялым, морщинистым и бледным, а голова, казалось, ещё увеличилась. Роман вспомнил, как сегодня Ключин не ответил на его христианское приветствие, и спросил:

– Андрей Викторович, вы в Бога не верите?

– Не верю.

– И в Христа не верите?

Ключин усмехнулся, стряхивая пепел на пол:

– Не верю.

– И в то, что смерти нет, не верите?

Ключин поморщился, отчего его лицо приняло плаксивое выражение:

– Голубчик вы мой, да я и живу-то, может быть, спокойно только потому, что верю в настоящую смерть. Что рано или поздно вот всё это, – он мотнул головой в сторону, – пропадёт и исчезнет навеки.

– Вы так не любите мир?

– Люблю, не люблю... при чём тут это? Просто он мне подноготно известен так, что успел надоеть. А смерть – это *tabula rasa*. Это покой и отсутствие всяких миров. И моё отсутствие. Вы надеетесь на воскресение из мёртвых, а я – на смерть...

– И вы полагаете, что мир, человек – это результат слепой игры слепых сил?

– Да мне наплевать, откуда мир взялся – демиург ли создал или матушка-природа. Я вообще старался никогда не думать на тему происхождения. Это всё равно что пытаться представить бесконечность. Мы, голубчик, живём в реальном мире. Вот изба, вот стол, вот рюмка. Вот, наконец, наши руки, глаза, мозги, лимфа. В качестве объекта нашим чувствам дан только этот мир и никакой другой.

– Но вера... – начал было Роман.

– Вера – это имя, – быстро перебил его Ключин и рассмеялся. – Без Веры мы можем обойтись! Без этого мира – нет!

– Каждый человек верит. А помимо физического мира, нам ещё дано чувство трансцендентального, которое есть в каждом человеке и с которым тоже приходится считаться.

– Трансцендентальное? Спросите об этом Парамошу Дуролома или мою кухарку Нюрку. У первого трансцендентальное – водка, у второй – чулок с деньгами.

– Они верят в Бога, это и есть их трансцендентальное...

– Верят потому, что так принято. Вместе молотят, вместе жнут, вместе в бане парятся. Вместе и в церковь ходят.

– Вы неправы, Андрей Викторович. Вера живёт в человеке с рождения. Христос нам заповедывал...

– Да что мне ваш Христос! – устало взмахнул руками Ключин. – Таких безумцев, как он, в миру было пруд пруди. Взяли, выбрали одного и вот молятся на него. А я вам, голубчик, так скажу. Я когда в ссылке жил, много литературы по психиатрии прочитал. А потом вспомнил Евангелие, и меня словно молнией ударили: это же чистый клинический случай! Шизофрения. Вам знакомо это слово?

– Какая глупость...

– Нет, не глупость. Давайте ещё выпьем, и я вам расскажу... всё расскажу о Христе.

Ключин быстро наполнил рюмки и заговорил:

– Так вот, Роман Алексеевич. Родился мальчик в Вифлееме у старого плотника Иосифа и его молодой жены Марии. В ту ночь была комета, а по иудейским верованиям под звездой рождаются только цари да пророки. Политические дела, надо сказать, в Иудее тех времён складывались весьма худо, – подчинённая Риму, она не имела собственного правителя. Ждали мессию, то есть попросту – царя Иудейского. Иосиф же, будучи человеком явно психически не совсем здоровым, женился на уже беременной Марии (иначе, посудите сами, какая бы молодая барышня пошла за старика), вбив себе в голову, или, точнее, услышав голоса, напевшие ему о высшей причастности к зачатию. Мария же тоже была не совсем нормальна. И вот в таких условиях растёт малыш. С детства отчим-безумец и ненормальная мать внушают ему, что он мессия. Постепенно он сходит с ума, то есть становится настоящим шизофреником, бродящим без дела из города в город, резонёрствуя и совращая слабохарактерных или таких же сумасшедших. У него настоящий шизофренический букет: раздвоение личности, мания величия, его одолевают видения и галлюцинации, он постоянно слышит голоса и разговаривает якобы со своим небесным отцом. Вся эта карусель длится довольно долго, наконец он становится слишком заметен, заместники боятся волнений, первосвященники – потери доверия народа, и вот его решают убрать. Его распинают. И вот здесь-то, милостивый государь вы мой, Роман Алексеевич, происходит самое замечательное. Знаете ли вы, что такое шизофренический Schub?

– Нет, не знаю, – проговорил Роман, с неприязнью слушая Ключина.

– Это попросту приступ, наивысшая точка болезни, когда больной впадает в так называемое реактивное состояние, то есть просто совсем заходит. Вывести его из такого состояния могут или сильные лекарства, или сильная боль. Не так давно в наших сумасшедших домах бедных больных выводили из Schub'a простым способом. Им делали “мушку”. То есть, взявши мокрое полотенце за оба конца, прижимали к макушке несчастного, а потом изо всех сил дёргали. В результате у него снимался скальп с макушки, он терял сознание от боли и потом приходил в себя. Так вот. Для Христа такой “мушкой” было распятие на кресте. Страшная боль отрезвила его, вывела из Schub'a, и он произнёс фразу, проливающую свет на всю его историю и подтверждающую мою правоту. “Почто меня оставил?” – вот что он спросил. Болезнь – вот что оставило его, дав на мгновение перед смертью трезвость ума. Если бы он и впрямь был сыном Божиим – спросил бы он у отца подобную глупость? Schub кончился, ангелы и голоса

исчезли. И умер по-человечески, в рассудке... Так-то. А вы мне – “Христос воскрес, Андрей Викторович”. Не воскрес. Не воскрес, голубчик...

Отложив мундштук с папиросой на край стола, Ключин взял рюмки в обе руки и выпил одну за другой.

Роман не притронулся к своим рюмкам. Его папироса давно потухла. Помолчав немного и собравшись с мыслями, он произнёс:

– М-да... Как тяжело вам жить, Андрей Викторович.

– И не говорите! – мотнул лбом Ключин, вытряхивая окурочек из мундштука на пол и топчась ногой. – Я бы, признаться, ещё в Сибири на себя руки наложил, да как-то уж совсем противно. И самое противное то, что приходится выбирать способ самоубийства. И вот начинаешь ломать голову – удавиться или утопиться. Будешь взвешивать, что безболезненней. Вроде – утопление. Но, с другой стороны, – дольше мучиться. Продумаешь всю ночь, а на рассвете решишь, что лучше всё-таки застрелиться в рот. С тем и заснёшь... Хе-хе-хе...

Он ввинтил в мундштук новую папиросу, зажёл спичку и закурил.

От выпитого спирта лицо его приобрело бледнолиловый оттенок, глаза блеснули. Чувство неприязни, охватившее Романа во время монолога Ключина, прошло, и Роману было просто жалко этого одинокого человека, вытесненного жизнью на край крутояровского оврага. Он и раньше слышал от Ключина подобные речи, дававшие повод считать фельдшера циником и позёром, но теперь он вдруг понял, что ни то ни другое не могло точно характеризовать Ключина как личность.

Только в эту ночь Роман почувствовал и понял, что перед ним настоящий убеждённый жизнененавистник, твёрдый и последовательный в своей ненависти.

Ключин сидел перед ним, пытая папиросой, подперев руками свою большую голову. Роман понял, что вести разговор на ту же тему бессмысленно, но всё-таки задал ещё один вопрос:

– Андрей Викторович, на что вы надеетесь?

– Так я ж вам уже говорил, – произнёс Ключин, не меняя позы и тупо глядя в стол. – На смерть, на смерть моя надежда, защита слабому она.

– От чего защита?

– Как от чего? От мира форм.

– Он так вам ненавистен?

– Он мне скучен. Я от него зеваю...

И Ключин действительно зевнул, прикрыв свой большой рот кулаком.

Роман почувствовал, что устал и хочет спать. По всей вероятности, была уже глубокая ночь.

– Андрей Викторович, мне пора, – проговорил Роман, приподнимаясь с кресла.

– Уходите? – сонно спросил Ключин. – Ну-ну.

Он с неохотой встал, зябко передёрнул узкими плечами и взял себя за локти.

По своему обыкновению, он никогда никому не передавал поклонов и на пожелание свидеться неизменно отвечал: “Прощайте”. В этот раз он нарушил свой угрюмый обычай и, попрощав Романа как-нибудь взять его “на вальдшнепов”, протянул ему свою влажную безвольную руку со словами:

– До свиданья...

Х

Праздничная неделя пролетела быстро: в воскресенье отец Агафон отслужил Антипасху и дал последний из восьми праздничных обедов, отличившийся наличием почти одних лишь сладких блюд, так как всё другое было уже съедено. Роман, сибаритствовавший всю неделю, в понедельник утром решил отправиться на этюды. Вставши пораньше, он быстро позавтракал, взял собранный и снаряжённый загодя этюдник, средних размеров картонку, надел широкую соломенную шляпу и отправился в путь.

Стояло ясное весеннее утро. Солнце только что взошло, его лучи легли на молоденькую ярко-зелёную травку, заскользили по влажным крышам, блеснули на речных мостках.

Крутой Яр жил бурной утренней жизнью: лаяли собаки, тянулись вверх ночные дымки, слышались голоса. Роману хотелось писать озеро, он прошёл овраг и двинулся по правому берегу реки.

Идти было легко.

От реки тянуло свежестью, кусты ивняка и молоденькие берёзки были все в молодых зелёных листочках, и ветерок шелестел ими, радуя этим новым долгожданным звуком. Пробуждение жизни в природе всегда остро волновало Романа. Во время весны он чувствовал всё совершенно по-особому: его душа переживала состояние человека, вернувшегося спустя много времени к своим родным местам. И это было так потому, что зима всегда воспринималась Романом как некая пауза между вёснами, пауза, которую он никак не мог назвать живой, а именовал лишь существующей. Поэтому он считал, что зимою и природа, и люди не живут, а существуют в ожидании весны. Теперь это существование кончилось, о чём так явственно шептали ему клейкие листочки.

Он шёл, трогая свободной рукой ожившие ветви, вдыхая запах реки и пробудившейся зелени.

Вокруг не было ни души – справа за полем зеленела стена соснового бора, слева тянулся берег, также поросший кустами и ивняком, за берегом расстилось большое, недавно запаханное поле. Оно уходило вдаль и на самом горизонте венчалось голубой полоской леса. Впереди же блестела на солнце выровнявшаяся лента реки с берегами, всё сильнее поднимающимися вверх, с обнажившимися песчаными откосами. Песок здесь был белый, мелкий; в детстве Роман так любил пересыпать его с ладони на ладонь, чувствуя, как холодящие струйки текут между пальцами. Теперь ему хотелось писать этот песок, эти белые берега, и он прибавлял шаг, думая о первом мазке, который он положит на свою картонку.

Берег с каждым шагом поднимался вверх, теряя растительность и оставляя реку внизу. Здесь уже отмели не были такими чистыми – осока и камыш подступили к воде.

Роман пересёк два небольших оврага и, преодолев продолжительный подъём, вышел на обрыв. Под ним лежало крутояровское озеро. Как и впадающая в него река, оно было безымянным. Не слишком большое, мелеющее с каждым годом озеро тем не менее было поразительно красиво. Левый край его сплошь порос камышами, правый был чист и белел длинной отмелью. Позади озера был луг, а за ним старая берёзовая роща.

Роман опустил этюдник на землю, положил на него картонку, достал портсигар и закурил. Ещё в столице он много раз представлял себе, как придёт сюда, на обрыв, нетерпеливыми руками разложит этюдник, подготовит палитру и примется за этюд. Он заранее, почти полгода назад, знал, что писать он будет дальний край озера, луг и берёзовую рощу – чудную, с зелено-голубым верхом и чёрно-белым низом.

Нетерпение его сейчас было столь велико, что он чувствовал дрожь пальцев, сжимающих папиросу. В его характере было броситься немедленно к этюднику, и он бы сделал это, если бы не

помнил совет своего покойного учителя живописи Владимира Селиверстовича Магницкого: не начинать этюда, а тем более картины, пока нетерпение не уступит место желанию.

На озере никого не было, только две чайки кружили над плёсом, покрикивая высокими хриплыми голосами. Солнце светило Роману в спину, и он чувствовал возрастающее тепло его лучей.

“Как чудно, что никого поблизости”, – думал Роман.

Он терпеть не мог, когда кто-то подходил посмотреть, “как рисует художник”, да и просто присутствие человеческой фигуры в этом пейзаже было бы неуместно. Докурив, он бросил окурочек вниз и стал расставлять этюдник. Это был старенький, немецкой работы ящичек с тремя складными ногами, стоящий на них красиво, но не вполне надёжно. Он, словно строптивый породистый жеребец, часто взбрыкивал, выказывая норов, угрожая завалиться набок со всем живописным содержимым, и Роман не раз подхватывал его на лету, к радости столичных зевак. Установив этюдник, Роман открыл его, снял лежащую сверху палитру и замер, положив руку на теснившиеся тюбики с красками. От них сразу пошёл до боли знакомый запах, солнце играло на их свинцовых боках.

Роман закрепил картонку на штативах, вынул из кармана своей замшевой куртки остро отточенный карандаш и быстро набросал фигуративные черты будущего пейзажа. Затем, выдавив на палитру из каждого тюбика, взял свою любимую плоскую, китайского колонка кисть, обмакнул в плосечку с льняным маслом, тщательно вытер бархатной тряпкой, тремя движениями смешал на палитре кобальт синий с оливковой светлой и положил первый мазок.

Живопись легко давалась Роману. За это он любил её сильной горячей любовью. Быстро и успешно освоив её тонкий механизм, он вошёл в этот новый мир цвета и формы не учеником, а сопричастником, навсегда избавившись от робости и ложных страхов. Как правило, такая уверенность в себе характерна лишь при первых шагах в искусстве, о чём не раз напоминал ему Магницкий, предупреждая, что вскоре его ждёт и разочарование, и ослепление, и, наконец, ненависть к самому себе.

Но Роман не боялся ничего, он работал с самозабвением, и ему удавалось многое. Всего за полгода он стал лучшим и любимым учеником Магницкого, опередив других молодых людей в чувстве цвета и тона. Свои пробелы в области рисунка он с лихвой восполнял живописью, в которой был с первых шагов невероятно свободен и точен. Он никогда не писал портретов и жанровых сцен, его призванием был русский пейзаж. И он питал особую любовь к пейзажистам, чувствуя с ними почти родственную связь.

Он любил фламандского Брейгеля, открывшего для живописи жанр пейзажа и увековечившего себя замечательной серией “Времена года”, любил великолепный колоризм Тёрнера и неповторимые акварели Бонингтона, вечерние поля Милле и цветущие кущи Клода Лоррена, любил смелость Сезанна и открытый взгляд Моне. Но больше всех в пейзаже Роман ценил и любил Левитана.

Ещё давно он заметил, что у каждого из русских пейзажистов есть свои привязанности. Так, Шишкин любил писать сосновые леса, Васильев – болота, лужи и проталины, Венецианов – хлебные полуденные поля, Куинджи – излучины рек. Но никто из них не был привязан непосредственно, целиком, к Русской Природе и никто не выразил её с такой полнотой и искренностью, как Левитан. Роман часами простаивал у его полотен, поражаясь простоте и ясности левитановского взгляда и в то же время удивительному, как бы незаметному мастерству художника.

“Пейзаж – это состояние души”, – не раз повторял Магницкий, и Роман знал, что единственный пейзажист, выразивший до конца состояние русской души, – Левитан. Роман не подражал ему, но переживал такую же одержимость русским пейзажем.

И каждый раз, начиная этюд или картину, он вспоминал спокойное, с налётом грусти лицо этого человека, его большие еврейские глаза, в которых навсегда отразилась Россия...

Роман самозабвенно работал над этюдом до самого полудня. Солнце за это время встало над озером и грело сильно. Этюд был готов, и только теперь Роман почувствовал, что ему жарко. Положив кисть, он снял куртку, бросил её, сел рядом и с наслаждением откинулся спиной на пожухлую прошлогоднюю траву, под которой чувствовалась прохладная земля.

Огромное голубое небо раскинулось над ним.

Где-то рядом пел жаворонок. Роман закрыл уставшие от непрерывного напряжения глаза. В них стояло озеро и вспыхивали смешиваемые краски.

“Как прекрасна воля, – думал он, лёжа с закрытыми глазами и прислушиваясь к непрерывной руладе жаворонка, – как хорошо быть свободным и жить по законам свободы воли. Наверное, нет на свете ничего хуже рабства, страшнее зависимости от воли другого человека. Ещё страшнее быть рабом собственных обстоятельств, положения, мнения большинства... И как радостно сознавать, что ты свободен. Что ты волен просто встать, бросить всё и идти куда глаза глядят или вот так лежать, слушая крохотную птицу...”

Он открыл глаза.

Ему вспомнилась столица со своими людьми, домами, фабриками, ресторанами, со своею суетой.

“Я уехал оттуда. Уехал навсегда. И я никогда больше не буду стремиться стать знаменитым художником или известным адвокатом, не буду слушать бред самодовольных людей, не стану лгать их некрасивым жёнам, что они красивы... Только бы свобода. Единственное богатство моё. Оставь мне его, Господи!..”

Он перекрестился, глядя в бескрайнее небо.

Вдалеке послышался слабый плеск вёсел.

“Чья-то лодка”, – подумал Роман и, приподнявшись, сел.

Из обросшей камышом протоки на озеро выплыла лодка. Человек, сидящий в ней, тоже заметил Романа и приподнял фуражку. Загородившись ладонью от солнца, Роман рассматривал гребущего. По всему виду это был человек пожилой. Вероятно, встреча с Романом изменила его планы, и он стал грести к берегу. Вскоре его лодка причалила, и Роман узнал старика Савву-бобыля, заядлого рыбака и балагура.

– Роман Лексеич, здравствуйте вам! – крикнул Савва, вынимая вёсла из уключин.

– Здравствуй, Савва! – громко ответил сверху Роман, улыбаясь старику, которого он всегда любил за сметливый ум и меткое слово. Савва хотел уже вылезать из лодки, но Роман вдруг решил, что с большим удовольствием вернулся бы домой речным путём, и, вскочив, махнул ему рукой:

– Погоди, Савва, я спущусь, вместе назад поплывём!

– И то дело! – весело ответил старик и принялся вставлять вёсла обратно.

Роман протёр насухо кисти, быстрым движением счистил краску с палитры, убрал всё в этюдник, закрыл его, свинтил ножки и, подхватив вместе с картонкой и курткой, пошёл к тропке, ведущей вниз к воде.

Савва терпеливо ждал его в лодке.

Найдя крутую тропку, Роман стал осторожно спускаться вниз, держа свою работу двумя пальцами за уголок.

– Никак картинка? – спросил Савва, когда Роман оказался на берегу перед лодкой. Ничего не отвечая, Роман подошёл, передал старику этюдник с курткой и потом уже сам ступил в закачавшуюся лодку, придерживая “картинку”.

– Поплыли, Савва, – с облегчением выдохнул Роман, опускаясь на кормовую лавку.

– Поплыли! – закричал старик, налегая на вёсла.

Заскрипели уключины, лодка стала удаляться от берега.

Роман обернулся. Обрыв, на котором он простоял почти пять часов, был пуст, величествен и безжизнен. Он высился над водой подобно утёсу.

“Какое всё-таки странное место, – думал Роман, – и какое оно нерусское. Как будто взяли кусок испанского берега да и перевезли сюда...”

Где-то наверху пронзительно и противно закричали чайки.

Роман вздрогнул.

– Господи, воля твоя! – пробормотал Савва. – Ишь, вопиёт, быдто упырь. Роман Алексеич, я зорькой вам рыбки отвёз. Пару щучек.

– Спасибо, Савва!

– Аксинье отдал. Ваши-то спали. Так я, значит, чтоб не тревожить, хотел было просто на окошко положить, да потом думаю, положу на окошко – стащит кошка, подвешу на палку – склюёт галка! Пришлось Аксинью будить да с ней рядить. Сначала ругались, потом бранились, после расстались, да помирились. Во как!

Роман рассмеялся, а старик, привыкший сыпать прибаутками почти на каждом шагу, только улыбнулся в свою густую белую бороду. Он был маленький, но крепкого сложения и в свои семьдесят с лишним сохранял удивительную подвижность.

– Что ж это вы там понавели? – размеренно гребя, спросил Савва, кивая на картинку.

– А вот что. – Роман повернул к нему эскиз.

– Ишь ты. – Савва бросил вёсла и, прищурившись, долго рассматривал пейзаж. – Во как. Быдто живая. Лепота...

– Ты что же, утром рыбку ловил? – спросил его Роман.

– Утром, – старик снова взялся за вёсла, – а щас вот хочу донку проверить. Утречком становил. Может, кто и сунулся...

Проплыв ещё немного, лодка остановилась возле протоки. Старик подрулил к камышам, покопался в их бурых прошлогодних зарослях, вытащил палку с примотанной к ней леской и потянул. Леска напряглась.

– Так, так. Кого-то зацепило... – пробормотал Савва, наматывая леску на палку.

Роман с любопытством наблюдал, как всё туже и туже напружинивается леска.

– Ну, ну, полекше, полекше... – шептал старик, упираясь в дно лодки ногами, обутыми в старые кирзовые сапоги.

Морщинистое, коричневатое, словно печёная картошка, лицо его казалось испуганным.

Леска дёрнулась вбок, зазвенев, как струна, и Роман различил в воде длинную чёрную рыбину, мечущуюся возле лодки. Положив свой эскиз на корму, Роман схватил лежащий на дне лодки сачок с толстой деревянной ручкой и, сунув его в воду, стал подводить под рыбину.

– Погодь, погодь, – шептал старик, изо всех сил держа пляшущую по воде леску.

Рыбина была сильной и хитрой и не шла в сачок, норовя нырнуть под днище. Савва бормотал что-то Роману, но тот, ослеплённый мгновенно вспыхнувшим азартом, ничего не слышал, приковавшись взглядом к мечущемуся чёрному профилю.

Вдруг Роман почувствовал удар, сачок в его руках заходил ходуном, лодка накренилась, чуть не вывалив обоих за борт.

– А-а-а-ах! – хрипло выкрикнул Роман, откидываясь назад и выдирая из воды невероятно тяжёлый сак.

– Держи! Держи! – выкрикнул Савва, протягивая мокрые, блестящие на солнце руки к возникшему из воды саку, в сетке которого бился с трудом поместившийся сом.

Роман перекинул сак в лодку, слегка задев им Савву. Старик прижал рыбину сапогом, но черноспинный гигант не хотел успокаиваться и, прогнувшись, ударил широким, как лопата, хвостом о борт.

– Погодь, погодь, – повторял старик, хватая со дна топорик с короткой рукоятью.

– Держи, а то выпрыгнет! – выкрикнул Роман, стараясь прижать сома ручкой сака.

– Господи, твоя воля... – прошипел старик, занося топор над головой.

Сом затих лишь после трёх сильных ударов.

– О-о-ох ты, о-о-ох, да воскреснет Боог! – пропел Савва, не выпуская топорик из рук и разглядывая неподвижно лежащую рыбину. – Полпуда, как пить дать!

Роман высвободил сак и потрогал рукой широкий, усыпанный тёмно-бурыми пятнами хвост. В пылу азарта сом казался ему гигантских размеров. Но и теперь он лежал увесистым кольцом, занимая почти треть лодки; разбитая усатая голова по ширине не уступала голове Саввы. Желтовато-белое брюхо мелко подрагивало, и дрожь передавалась прилипшему к лодке хвосту.

– Ишь, не отошёл ещё, бродяга, – замахнулся было Савва, но, передумав, положил топор и стал вынимать крючок из полуоткрытого косоного сомего рта.

– С добычей тебя, Савва! – проговорил Роман, вытирая рукавом водяные брызги с лица.

– Спасибочки, Роман Алексеич! Да, мил ты мой, без тебя б рази ж мне справиться? Это ж живоглот вон какой, он бы меня под лодку утянул! Вот Господь послал тебя, как нарочно!

Старик вытащил крючок и, сматывая ловкими движениями леску, негромко запел:

– Бог нам рыбки послал, да ловить помогал, да тянуть подсоблял, Роман Алексеича послал, а мы рыбку-то тянули, да спинушки погнули, да ручки натёрли, да жилки перетёрли, да опа-па-па, опа-па, опа-па, полезай-ка, живоглот, да в наш-от огород...

Страхивая попавшую на куртку и этюдник воду, Роман машинально оглянулся, вспомнив про этюд, и остолбенел – четырёхугольная некрашенная корма была пуста.

– Что за чёрт... – Роман вскочил, шагнул через лавку и, свесившись, посмотрел в зелёную воду.

Во время борьбы с сомом написанный Романом этюд упал в воду. Прессованный тяжёлый картон, вероятно, не обладал плавучестью.

Загораживаясь от солнца, Роман смотрел вниз, но дна не было видно.

– Савва, тут глубоко? – спросил он у мурлычащего что-то себе под нос старика.

– Глыбоко. Такие твари на мелкоте не ходют, – бормотал ничего не ведающий старик. – Я ж почему у камышей стрёмку привязал? Он, бродяга, в камышах лягухами нажрётся, а опосля в омут, вот сюда, где мы щас. Тут яма. И лежит там в тине...

Голос Саввы был настолько мягок и безмятежен, что Роман, хотевший уж было заявить о потере, передумал.

“Радость старику омрачать, – подумал он, рассеянно глядя в воду. – Ладно, что ж теперь. А этюд хороший вышел, цвет я точно взял. Значит, не судьба...”

– Ну да, первый блин комом, – проговорил он вслух.

– Чаво? – поднял голову копошащийся над сомом Савва.

– Ничего. Всё к лучшему, говорю. Поплыли домой, старик. Дай-ка я за вёсла сяду.

– Да чего уж вам руки мозолить, мне ж привычной...

– Садись, говорю, на моё место, – решительно приказал Роман.

Старик послушно перешёл на нос, Роман сел за весла, подрулил к протоке и стал грести быстро и широко. С одной стороны, ему было обидно за утерянный этюд, но с другой – он видел в этом некий знак судьбы, постоянно испытывающей его.

“Так неожиданно и бесповоротно, – удивлялся он. – Пять часов я работал в самозабвении, пять часов стремился оживить краски, и мне это удалось. И вот в одно мгновение провидение отнимает у меня плод моего творчества. Даже не отнимает, а прямо... крадёт... Причем крадёт при помощи того самого озера, что я писал. Будь на моём месте Сведенборг, так он сейчас бы нашел этому мистическое объяснение. Но мне всегда была чужда мистика, я не верю, что человек – это всего лишь поле брани для невидимых сил. Я же сам по себе, мне Бог дал внутреннюю свободу, я живу лишь собственной волей и верой в воскрешение. Да, безусловно, и мир, и природа равнодушны ко мне. Волна слизала с кормы произведение искусства, теперь оно тихо сгниёт в озёрной тине. Да, но почему это так глупо, так смешно? И я смешон. Сел за

вёсла и гребу, как будто ничего не случилось. И старик этот, глупый как пробка, и этот дурацкий сом, и это дурацкое озеро...”

Роман поднял вёсла.

Некоторое время лодка скользила по инерции, потом остановилась.

Они плыли против течения, но речка текла так медленно, что казалось, будто лодка совсем не движется,

– Уморились? – заботливо спросил Савва, с готовностью приподнимаясь с места.

– Нет... нет. – Опустив вёсла в воду, Роман рассеянно потёр виски.

Лодка стояла на середине реки.

– Роман Алексеич, давайте-ка я, – не унимался старик, и Роман снова налёг на вёсла, плечами и спиной чувствуя упругую силу воды. Лодка набрала ход и понеслась дальше. Берега были все в яркой молодой зелени. Отсюда, с середины, они казались особенно красивыми.

– Что ж вы утруждаетесь, Роман Алексеич. Это ж наше дело мужицкое, а вы – руки бить... – укоризненно качал своей кругленькой опрятной головой Савва. – И Николай Иванович тоже туда. Зимой с мужиками дрова пилил. Ладно – себе, а то просто так, придёт на двор, как батрак, и пилит, пилит, пока не уморится. Чудаки, ей-богу...

– Не чудаки, Савва, а умные люди. Он, во-первых, себе кости разомнёт, во-вторых, вам, дуракам, поможет. А вы вместо спасибо охаете да смеётесь.

– Упаси Бог смеяться! – замахал руками Савва, тем не менее улыбаясь. – Не смеёмся. Токмо чудно, право...

– Скажи лучше, что, рыбы много весной шло?

Старик зажмурился, словно после выпитой водки, тряхнул головой и быстро запричитал, похлопывая себя по коленям:

– Ох, много-много было рыбки-рыбёшки, я ловил её дырявой плетёшкой, я хватал её рубахой да руками, я глушил её, душил сапогами! Посолили да повялили, поварили да пожарили, опа-па-па, опа-па, опа-па, всю сожрали с головы до хвоста!

Роман усмехнулся:

– Ну, Савва, и шутник же ты.

– Шутки шутим да воду мутим, улыбку ловим да Бога молим: дай нам, Боже, и завтра то же! – тараторил Савва, дёргаясь и приплясывая на корме всем телом. Роман рассмеялся:

– Скажи, а ты с молодости балагурить любил или под старость научился?

– Я-то? Н-е-е-ет. В молодых годах я сурьёзный был, – проговорил старик, придавая своему загорелому лицу действительно серьёзное выражение. – Мы с батей люди богатые были, жизнь за глотку держали. Думал, женюсь, отделию, мельницу свою поставлю, работников займею, лавку открою. А тут батя возьми и помре. А после мать с сестрой в бане сгорели. А после – холера, братья померли, а после я уж сам горел. А после по миру пошёл. Вот тогда и разве-селился сурьёзный человек Савва Прохоров. Хорошо ещё, в Крутом Яре осел, вдовица Дарья Матвевна, покойница, царствие ей небесное, пригрела да уговорила. А то б так и бродил бы кусошником, проплясал бы всю жизнь.

– Ты что, жалеешь?

– А то как же! – лукаво щурясь от солнца, усмехнулся старик. – Побирухой спокойней. Иди, ни о чём не думай. Хлеб подадут – съешь, в сеновал пустят – переспнешь. А тут вот хозяйство, каждый раз бойся, чтоб не стряслось чего.

– И ты боишься?

– Н-е-е-т! – засмеялся Савва, открыв свой шербатый рот. – Мне всё одно! Коли в третий раз гореть – и слава Богу. Жалеть не буду. Всё одно помирать, чего ж тут за избу бояться?

– А зачем же жить тогда, если знаешь, что всё равно умирать придётся?

– Жить-то? А ради волюшки вольной... Вот ради чего. Чтоб сам себе голова. Что хочу, то и ворочу. Хочу – сома этого сам съем, хочу – тебе подарю, хочу – кому продам, хочу – кошке

отдам, хочу – в муку истолку, хочу – с блином испеку, а захочу – на забор повешу, баб потешу, буду показывать, да рассказывать, да подпрыгивать, да подмигивать, опа-па-па, опа-па, опа-па, поглядите на мово на сома!

Подпрыгивая по корме, Савва шлёпал себя по коленям, ляжкам и груди, тряс головой и непрерывно выкрикивал свои “опа-па, опа-па, опа-па, опа-па!”.

Роман грёб, любуясь забавным стариком.

“Волюшка-воля, – вспомнил он только что сказанное Саввой. – Вот что по-настоящему радует людей, что удерживает их на земле. Свобода воли позволяет им побороть страх смерти, так как только свобода воли может быть предпосылкой чувства трансцендентального. А следствием этого глубинного чувства является вера. А где вера, там уже нет смерти. Там есть Христос, есть Надежда и Любовь”.

А лодка между тем уже вплывала в пределы села. По берегам показались бани и ледники, перевёрнутые кверху днищами лодки.

Роман почувствовал в руках усталость и бросил вёсла:

– Всё, Савва, дальше ты меня вези.

– С превеликой радостью! – подхватился с места старик и, перешагнув через сома, уселся за вёсла.

Роман расположился на корме, возле своего этюдника.

В отличие от неторопливой, но размашистой гребли Романа, Савва грёб быстро, лишь слегка касаясь вёслами воды, словно боясь намочить их. Однако лодка от такой гребли плыла быстрее и быстрее. Опустив руку за борт, Роман шевелил пальцами в холодной журчащей воде, складывая и раздвигая их.

“И не буду я жалеть об этюде, – думал он, оглядывая знакомые берега. – Эти пять часов я просто упражнял своё художественное видение, оно первичней любой картины, оно всегда со мной, и никакая волна его не смоет. А этюдов будет много. Будем считать, что сегодня я просто попробовал кисти...”

Савва грёб, ворочая вёслами с завидной лёгкостью. Полощущие на мостках бельё бабы окликнули Романа, когда лодка поравнялась с ними:

– Здравствуйте, Роман Алексеич!

Роман в свою очередь пожелал им здравствовать.

– Никак рыбку ловили? – спросила одна из них, и Савва, бросив вёсла, схватил сома под жабры, поднял двумя руками:

– Вот какую рыбку ловили! Видали?

Бабы одобрительно покачали головами, но удивления не выказали: к крупной рыбе в Крутом Яре привыкли. К тому же сомов считали наилучшей рыбой, им предпочитали судаков, сазанов, щук.

Положив сома на дно лодки, Савва ополоснул испачканные рыбьей кровью руки, поплевал на них и опять налёг на вёсла:

– Эх, прокачу!

Роман достал портсигар, закурил, бросив спичку за борт.

Речка делала крутой поворот, огибая церковь и дом отца Агафона.

– И эх! Прокачу! – приговаривал Савва, ловко работая вёслами.

– Прокати вон до тех мостков. – Роман показал папиросой вперёд на небольшую дощатую пристань с полдюжиной привязанных лодок.

– Слушаюсь, ваше сиятельство! – подпрыгнул на лавке Савва и заработал как машина, непрерывно напевая “опа-па-па, опа-па, опа-па!”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.